

Божья воля

Часть первая. НОВЫЕ КУМИРЫ

Глава I ПОЕДИНОК

Весна только начиналась. Солнце с каждым днём грело сильнее, и не только московские улицы стали освобождаться от снега и заплывать грязью, но уже и на полях, особенно в местах, где повыше, появились проталинки. Зато в лесных чащах снег лежал целиной, такой же белый и пушистый, как и в начале зимы – и только кое-где у деревьев он казался как бы испещрённым чёрными точками. Это оставила следы капель, падавшая с ветвей в тёплые дни. Зима 1729 года была особенно снежная, и снегу в лесных ложбинах намело целые сугробы, так что несколько пешеходов, пробиравшихся от Сущёва, где они вышли из колымаги, по колена в снегу, в глубь Марьиной рощи, ругательски ругали эту обильную снегом зиму.

Пешеходов было четверо. Трое из них – ещё совершенно молодые люди – были одеты в треухи и зелёные камзолы Преображенского полка, а четвёртый, постарше, закутался чуть не с головой в широкую медвежью шубу малинового бархата, сильно смахивавшую на боярский зимник, так ещё недавно изгнанный из русской жизни властной рукой Великого Петра.

Он был молчалив и как-то угрюмо-сосредоточен, представляя полнейшую противоположность говорливым молодым товарищам. Их весёлый смех, их непринуждённая болтовня, казалось, ужасно неприятно действовали на него. Он даже порывался заметить им это, но почему-то сдержался, промолчал и только ещё суровее сдвинул свои густые брови, отчего на лбу легла резкая глубокая складка.

Но молодые офицеры как бы и не замечали гримас своего пожилого спутника. То проваливаясь в снег, то выбираясь на тропку, они продолжали болтать без умолку, оглашая своими молодыми звонкими голосами торжественную тишину рощи.

– Далеко ещё идти? – спросил один из преображенцев, высокий, немного даже тучный брюнет.

– А что, князенька, устал, что ли? – отозвался другой, тоже рослый и тоже чернявый преображенец.

– Устанешь тут! – заметил первый. – Ишь, дорога-то, ровно чёрт её стлал. Я, почитай, раз двадцать в преисподнюю лазил по грудку. Вон Степанычу, – кивнул он в сторону низенького рыжеусого офицера, уверенно шагнувшего по снежному ковру, – ничего... Он на паркете ровно...

– Так небось Вельяминов это место как пять пальцев на деснице знает; он уж сюда не впервой шагает. Так, что ли, Миша?

– Знамо, так! – откликнулся Вельяминов. – Чай, на третьей дуэляции в секундантах числюсь.

– Ну, ты, опытный секундонт, скоро ль мы придём? – воскликнул тот, которого назвали князем.

– Скоро, скоро, – успокоил его Вельяминов. – Ещё шагов сорок, – мы и у места. Такая чудная лощинка есть – моё почтение. Для сатисфакции, кажись, лучшего места и не найдёшь. Да ты чего торопишься-то? – вдруг расхохотавшись, задал вопрос Вельяминов. – Трусит твоё сиятельство аль с храбрости терпенья нет?

– Трушу! – воскликнул брюнет, даже остановившись на минуту. – Шутишь, Мишенька! Из рода князей Барятинских трусов пока не выхаживало.

– Да будет, не кипятись; конечно, шучу, – поспешил заметить Вельяминов. – Ведь ишь разгорелся – полымем вспыхнул. Сенявин, погляди-ка на князеньку...

– Да что на него глядеть-то, – отозвался Сенявин. – Чай, известный задира. Ни врагу, ни другу спуску не даст.

– Ну уж, будто и я таков?! – возразил Барятинский.

– А то нет, что ли... А с Долгоруким-то с чего рассорился. Так, с пустяков...

– Хороши пустяки!..

– А вот и полянка, вот и пришли! – крикнул Вельяминов, первым сворачивая из лощины, по которой они шли от самого Сущёва, на небольшую ложбинку. Снег на этом месте был усердно примят. Очевидно, эту ложбинку посещали, и нередко. И действительно, здесь разыгралось в последнее время немало кровавых драк... Великий преобразователь, искоренявший с неослабной энергией всё, что только напоминало "долгополую старину", одним из первых уничтожил Божий суд и взамен его велел спорщикам и обиженным являться к себе, – "дабы без послабности разрешать их обиды и споры кровные, понеже до чести касает". Но, конечно, немногие и даже очень немногие понесли свои личные обиды, свои частные дела на суд грозного царя, тем более что и царю, занятому то непрерывными войнами, то постройками городов и кораблей, было мало времени заниматься спорами между подданными. Страх был силён, разрешение обид "Божьим полем" из страха царского гнева сначала оставили, но потом снова принялись за поединки, понятно, уже не гласно и не торжественно, как прежде, а втихомолку, потайно, в глухих местах, куда не мог бы достать зоркий глаз царского наместника Юрия Ромодановского. И вот чаща Сокольничьей и Марьиной рощ стала скрывать за своими вековыми стволами поединщиков. Спервоначала поединки сильно смахивали на прежний Божий суд – дрались в полных доспехах, мечами, чуть не палицами. А потом люди, побывавшие за рубежом, в иных землях, в неметчине да во Франции, привезли оттуда рассказы о дуэляциях, и дуэляции сменили окончательно древний "Божий суд", но ложбинка в Марьиной роще, как и прежде, осталась излюбленным местом для встречи горячих голов, жаждавших смыть обиду кровью обидчика, желавших "сатисфакции" с оружием в руках.

И эта пресловутая ложбинка была очень удобна для таких "честных встреч". Достаточно удалённая от Сущёвской слободы, она была со всех сторон окружена высокими соснами, точно безмолвная стража оберегавшими её от нескромного взгляда любопытных. Здесь, на этой полянке, нередко, особенно в последнее время, после кончины грозного царя, обещавшего повесить и живого и мёртвого из поединщиков,

слышалось лязганье сабель и рапир, с гулом раскатывались пистолетные выстрелы, сопровождаясь жалобным стоном раненых... Много кровавых историй могли бы поведать тёмно-зелёные сосны, меланхолично глядевшие на ложбинку, глухо шумя под ветром своею иглистою листвою; много стонов подслушали они, много крови перевидали они на притоптанной траве летнею порой, на примятом снегу зимних дней. Яркое солнце сушило кровавые лужи, снег заносил их, но в памяти хвойных великанов запечатлелась каждая капля этой крови, каждый вздох несчастных людей, сражённых пулею или клинком противника...

Когда четверо спутников вышли наконец на полянку, которую так расхваливал Вельяминов, солнце уже вынырнуло из гряды облаков, сплошной пеленой затянувших закраину горизонта, и гигантским веером раскинуло свои лучи по бледно-синему небу. Упали солнечные лучи и на полянку, и позолотили стволы и сучья сосен, и их тёмная зелень теперь стала гораздо зеленее, точно посвежела сразу.

– Однако мы первые пожаловали! – заметил Сенявин, доставая из кармана камзола трубочку и кисет с кнастером.

– Придут и они... – отозвался Барятинский, – я чай, Долгорукому не расчёт в трусах прослыть...

– И тебе, Васюк, я вижу – большая охота с ним подраться? – спросил Вельяминов.

– Большой охоты нет, а проучить его желательно...

– Проучить!.. – сквозь зубы буркнул всё время молчавший старик. – Проучить! Смотри, как бы он тебя, мальчишку, не проучил, да так, что вовек не забудешь...

Барятинский даже вздрогнул от неожиданности и быстро повернулся лицом к старику.

– Вы, дядюшка, кажись, чем-то недовольны? – словно извиняясь, спросил он.

– Понятно, недоволен, – опять буркнул старик, окидывая Барятинского сумрачным взглядом. – Да и довольному быть нечем. Ты подумай только, что из сего воспоследовать может.

Барятинский гордо тряхнул головой, и презрительная улыбка дрогнула в углах его губ, чуть-чуть прикрытых усами.

– Я уже всё обдумал, дядюшка. Знаю, на что вы намёк делаете, да обиды-то я никому спускать не намерен, хоть будь то из временщиков временщик.

– Дурень, шалая голова! – воскликнул старый князь. – Коли кровь бурлит, так уж и рассудок потерял! Помяни ты моё слово, что всё сие добром не кончится. Знаю я Долгоруких: они друг за дружку горой стоят и за своего всякому глотку перегрызут. Ведь нешто теперь прежние времена, как бывало при батюшке Петре. Теперь, брат, не то...

– Эх, дядюшка! – нетерпеливо отозвался Барятинский, – чему быть, тому не миновать, а мне всё равно жалеть нечего. Уж коли вражда, так вражда на всю жизнь. Да и чего бояться-то? В Пелым али в Берёзов пошлют, так и повыше нас в тех местах пребывают. Вон уж на что велика персона был Александр Данилович Меншиков, да и того на побывку в сибирский пригород послали. А нам что – мы люди маленькие. Так, что ли, Миша?

И, повернувшись к Сенявину, прилежно сосавшему свою трубочку, он расхохотался звонким весёлым смехом.

– Ну, а если князь Алексей Михайлович и поединковать с тобой не будет? – спросил старик.

– Не будет? Как не будет? – воскликнул Барятинский. – Да этого быть не может!

– А вдруг может. Вдруг возьмёт, да вместо того, чтобы самому прийти, да грудь свою под твою пулю подставлять, возьмёт да Андрея Ивановича Ушакова с подручными и пришлёт... Что ты тогда делать-то будешь?

Барятинский вспыхнул до белков глаз и грозно сжал кулаки.

– Как что делать! – крикнул он. – Да я его всенародно подлецом назову, я из него лучины нащепаю... я его...

– Постой, постой! Не горячись очень-то! Что ты с ним сделаешь, когда будешь сидеть в подвале Тайной канцелярии? А коль скоро к Андрею Ивановичу в руки попадешь, он тебя даром не отпустит.

Барятинский задумался, но ненадолго. Через минуту опять весёлая

усмешка пробежала по его лицу.

– Волка бояться – в лес не ходить, – сказал он, – будь что будет! А коль ненароком попаду в Тайную канцелярию, так вы небось, дядюшка, меня вызволите. Ведь это вы только с виду сердиты, а на деле-то ой-ой как меня любите!

И он ласково охватил старика своими могучими руками.

– Будет, будет! – стал отбиваться тот. – Ишь, задушил совсем! И врешь ты всё, нисколько я тебя не люблю, ибо ты шалая голова и пустозвон.

Но ласка племянника подействовала на сурового старика, морщины на лбу его разгладились и глаза стали глядеть менее сумрачно.

– Да, великое ещё тебе счастье, – сказал он через минуту, – что есть у нас лазейка к её высочеству Лизавете Петровне. Дай ей Бог здоровья, она нас в обиду не даёт. Только потому я и не тащу тебя отсюда за ворот, что коли случится беда, так есть хоть уцепиться за что, а то бы ни вовек тебе не позволил поединковать.

В это время из лесной чащи донёсся хруст сломавшейся ветки, послышались чьи-то голоса, и в просвете тропинки показалось несколько фигур.

– Ай, батюшки! – воскликнул Сенявин, быстро стряхивая пепел с своей трубочки, – кажись, и впрямь ушаковские приспешники идут!

Барятинский нервно вздрогнул и устремил глаза в просвет, где чернелись приближавшиеся фигуры.

– Будет шулки-то шутить! – заметил Вельяминов, – это сам князь Алексей Михайлович со товарищи жалует.

Вельяминов не ошибся. Не успел он закончить своей фразы, как из чащи на ложбинку вышли трое офицеров Семёновского полка, один из которых, шедший впереди высокий статный красавец, и был князь Алексей Михайлович Долгорукий. Когда взгляд Барятинского упал на его лицо, Василий Матвеевич злобно усмехнулся и тотчас же отвёл глаза в противоположную сторону. Долгорукий заметил это и в свою очередь бросил на своего противника взгляд непримиримой злобы.

– А вы опоздали, господа, – заметил Сенявин, дружески здороваясь со

спутниками Долгорукого.

– Да вишь, дорога-то какая: раза два колымага падала, чуть кони ног не обломали.

Долгорукий презрительно усмехнулся и процедил сквозь зубы:

– Небольшое дело, коли подождали, не велики персоны-то!

Сенявин покраснел и резко спросил:

– Так что же, приступать можно?

– Приступайте, – ответил один из спутников Долгорукого, пониже ростом, – за нами задержки ноне не будет.

– Да поскорей кончайте всю эту чепуху, – вступился Долгорукий, нервно теребя выпушку своего щегольского камзола. Сенявин отошёл к Вельяминову, и затем оба они начали приготовления к поединку.

– А чьими пистолями будете стреляться? – спросил Вельяминов, обращаясь к противнику.

– Мне всё равно, – отозвался Долгорукий.

– И мне так же, – ответил Барятинский.

– Так, значит, по жребью, – решил Сенявин. – Бросай, Мишук, пятак. Коли орёл выпадет, – значит, наши пистолы.

Вельяминов достал пятак и высоко подшвырнул его кверху. Монета упала орлом.

– Ну вот и ладно! – воскликнул Сенявин. – Теперь и заряжать можно.

Взяв ящик с пистолетами, он отошёл вместе с одним из секундентов Долгорукого в сторону. Пока шли приготовления, пока секунденты заряжали пистолеты, осматривали кремни и подкладывали пыжи, пока они измеряли расстояние, противники, как ни в чём не бывало, словно эти приготовления делались не для них, не обращали на это ни малейшего внимания. Долгорукий медленным шагом прохаживался по лощинке, поглаживая по временам свой бритый подбородок, а Барятинский вполголоса разговаривал со своим дядей.

– Видите, дядюшка, вы совершенно напрасно меня пугали, – говорил он.

– Ну, да ведь дело-то ещё не кончилось, – отозвался старый князь, – подожди, что ещё впереди будет.

– Да ничего и не будет, – самоуверенно отозвался Барятинский, – всажу ему пулю в его глупую голову – и баста!

– Хвались, хвались, Аника-воин, как бы он тебя прежде не уколошил! Он стрелок-то знатный, с лёту птицу бьёт!

– Ну и я тем же похвастаться могу, – заметил Барятинский.

– Ох, не дай Господи, – вздохнул старый князь, – если и впрямь у вас дело до сурьёза дойдёт! Коль и впрямь ты подстрелишь князя Алексея насмерть, ничего доброго от того не будет: загрызут нас Долгорукие! Пожалуй, тогда и принцесса Лизавета не поможет. Уж ты, Васенька, стреляй как-нибудь поопасливей. Ну, порань его, что ли... а насмерть бить не надо.

Барятинский звонко расхохотался.

– Ох, дядюшка, насмешили!.. Ну, так и быть, только для вас оторву ему пулей ухо...

И он опять расхохотался. Смех его достиг до слуха Долгорукого, тот нервно вздёрнул плечами и снова бросил злобный взгляд в сторону всё продолжавшего смеяться Барятинского.

– Ишь, грохочет! – процедил он сквозь зубы и потом, обращаясь к секундантам, крикнул: – Долго вы там будете копать? Нельзя ли поскорей!

– Готово! – отозвался Сенявин и, подойдя к Долгорукому с пистолетами в руках, прибавил: – Извольте выбирать! – Долгорукий резко выхватил у него один из пистолетов и взвёл курок. Оставшийся пистолет Сенявин передал Барятинскому.

– К барьеру! – воскликнул Вельяминов.

Противники медленно подошли к назначенным местам, где виднелись эфесы воткнутых в снег сабель, затем отвесили друг другу церемонный поклон и замерли в неподвижной позе, дожидаясь сигнала Вельяминова.

Оба они казались совершенно спокойными. Ни один мускул не дрожал на их лице, даже краска не сбегала с разрумяненных лёгким морозом щёк, и только по глазам Долгорукого, беспокойно бегавшим из стороны в сторону, можно было заметить, что он немного волнуется. Вельяминов,

стоявший у самого барьера, сделал несколько шагов назад и звучным голосом произнёс:

– Раз!

Оба противника вытянули руки и стали целиться.

– Два! – сказал Вельяминов и затем, немного помолчав, крикнул: – Три!

Два выстрела гулко раскатились по лесной чаще. Ложбинка на минуту закуталась облаком дыма, а когда дым рассеялся, секунденты Барятинского увидели его лежащим на снегу...

Глава II ГРОМОВОЙ УДАР

Первым подбежал к неподвижно лежащему Барятинскому Сенявин. Он стоял к нему ближе всех и заметил, как князь Василий Матвеевич с тихим стоном опустился на снег после того, как прозвучали выстрелы. Барятинский лежал навзничь с совершенно помертвелым лицом, и с первого взгляда казалось, что жизнь уже покинула его могучее тело. По зелёному сукну мундира вилась струйка крови и, сбегая на снег, окрашивала его в алый цвет.

– Убит! Вася, милый! – воскликнул старый князь, подбегая вслед за Сенявиным.

Сенявин грустно покачал головой и промолвил:

– Должно, наповал. Ишь, щучий сын, как верно наметился! Почитай, в самое сердце.

И он указал на черневшее на сукне мундира отверстие, откуда сочилась кровь.

– Ах, Вася, Вася! – грустно вздохнул старик. – Не послушался меня, старого вещуна, вот и поплатился молодой жизнью!..

И он отёр рукавом своей шубы наворачнувшиеся на глаза слёзы.

– Да, может, он ещё жив, – робко заметил Вельяминов, наклоняясь над лежавшим неподвижно другом.

Сенявин печально махнул рукой.

– Какое жив!.. Нешто не видишь: лицо синеть начинает.

– А может, жив, – опять повторил Вельяминов, – иной совсем мертвец

мертвецом, а глядишь – выходят. Пстой-ка, я сердце послушаю.

И он, став на колени, торопливо, дрожащими руками начал расстёгивать крючки кафтана. Наконец кафтан был расстёгнут, и Вельяминов прижался ухом как раз к тому месту груди, где чернела ранка.

Прошло несколько мгновений, показавшихся Сенявину и старому князю целую вечностью. Затаив дыхание, они старались по лицу Вельяминова угадать, слышит он или нет биение сердца. И чем дольше тянулась неизвестность, чем дольше прислушивался Вельяминов, тем печальнее становились их лица.

– Нет, – шепнул старый князь, – должно, ничего не слышать...

И голос его дрогнул, оборвался, и в нём послышалось рыдание.

Но вот Вельяминов поднял голову и с весёлой улыбкой воскликнул:

– Жив, жив, ей-богу, жив! Хоть и тихо стучит сердце, а всё ж стучит!..

– Ну, слава Богу! – истово перекрестился старый князь. – А уж я, было, всякую надежду потерял.

– Ну, теперь медлить неча, давайте-ка дотащим его до колымаги, а там поскорее к дому!

И с этими словами Вельяминов приподнял почти бездыханного Бярятинского за плечи и крикнул Сенявину:

– А ты, Митя, бери его за ноги.

– Нет, так неудобно, – вступился старый князь, – этак, коли он ещё жив, вы из него дорогой всю душу вытрясете.

– Так не бросать же его здесь! – заметил Сенявин, уже схвативший Бярятинского за ноги.

– Зачем бросать! А мы лучше вот как сделаем: положите его на мою шубу да и несите бережно, чтобы тряски не было. Да рану-то чем-нибудь заткните, а то он весь кровью изойдёт.

Пока Вельяминов затыкал всё ещё сочившуюся кровью рану обрывком рубашки, старик скинул с себя свою бархатную, подбитую соболем шубу и разостлал её на снегу. Затем они все втроём бережно переложили Бярятинского на шубу и медленно понесли его по тропинке, по которой какой-нибудь час тому назад они шли, так весело смеясь и болтая. Всё

время, пока происходила эта сцена, князь Долгорукий и его спутники держались особняком, молча поглядывая на то, что происходило около тела Барятинского. И только тогда, когда печальная процессия скрылась за стволами жалобно шумевших под набевшим ветром сосен, Алексей Михайлович швырнул в снег пистолет, который всё ещё держал в руках, и воскликнул со злой, нехорошей улыбкой:

– Вот дураки-то! Они и впрямь надеются, что он оживёт.

– А ловко ты его, князенька, смазал! – отозвался один из его сотоварищей, прапорщик Барсуков, – кажись, в самое сердце угодил.

Долгорукий с самодовольным видом потёр руки.

– Да уж, это по мне! Охулки на руку не положу! Тоже, дурак, сатисфакции захотел!

– Да из чего у вас дело-то вышло? Расскажи толком! – спросил другой секундант, князь Лысков.

– Да всё из-за этой, из-за княжны Анны Васильевны.

– Из-за Рудницкой? – спросил Барсуков. – Чего же вы с ним не поделили?

Долгорукий пренебрежительно пожал плечами.

– Как чего не поделили? В соперники мне записался! Втемяшилось ему в глупую башку, что Анна Васильевна к нему любовные чувства питает, – ну, вот он на меня и взбеленился. Зачем-де я там бываю да зачем с ней разговоры разговариваю? Ну, как-то раз и договорили мы с ним крупно, привязался он ко мне, я его и обругал. Ну, а он сатисфакции потребовал. Вот ему и сатисфакция!

И он расхохотался злым неприятным смешком.

– Ну, что же, ребята, – заговорил он, окончив смеяться – не ночевать же здесь! Айда по домам!

И он торопливыми шагами вышел на тропку, по которой несколько минут назад пронесли бесчувственное тело его противника.

Недалеко от Мясницких ворот, как раз в том месте, где виднелись развалины стены Белого города, стоял приземистый двухэтажный дом, построенный, очевидно, в недавнее время. Об этом говорило и отсутствие

теремных вышек, ещё встречавшихся на старых боярских домах, и плоская черепичная крыша на голландский манер, и какая-то сжатость и придавленность прямолинейной постройки, совсем не напоминавшей прежних усадеб допетровского времени. Одного взгляда на этот дом было совершенно достаточно, чтоб убедиться, что эту постройку возводил новый человек, вскормленник петровского царствования, приверженец новых порядков и новых взглядов на жизнь.

Дореформенная Русь требовала шири, она не умела ютиться в тех голландских мазанках, которые выросли на топких невских берегах. Чем знатнее был боярин, тем больше места захватывала его усадьба, тем больше изб, сеней и присенков вырастало за дубовым тыном, обхватывавшим границы его владений. Но пример царя-преобразователя, долгое время жившего в избушке в одну комнату, дал толчок совершенно другим понятиям. И птенцы его царствования, ближайшие советники его деяний, один перед другим наперебой точно хвастались теснотой и неудобством своих домишек, ставших по сторонам Невской перспективы. Но, конечно, это хвастовство происходило, главным образом, от недостатка строительного материала. Болотистые приневские окрестности совсем не изобиловали строевым лесом и в большинстве случаев были покрыты мелким кустарником, скрывавшим как бы живой изгородью топи и мочажины. Благодаря такой-то скудости строительных материалов первое время в Петербурге, за исключением Летнего дворца да меншиковского дома, не было ни одного двухэтажного здания. Совершенно естественно, что люди, привыкшие к петербургским постройкам, и в Москву занесли тот же шаблон, когда им пришлось строиться здесь.

А князь Василий Семёнович Рудницкий, которому и принадлежал дом у Мясницких ворот, прожил в Петербурге большую половину своей жизни, до самых последних дней петровского царствования.

Его родовая вотчина была под Ярославлем. Князья Рудницкие происходили из древнего рода литовских выходцев, пришедших на Русь ещё во времена Василия Тёмного. Они долгие годы жили в своих

ярославских поместьях, только изредка наведываясь ко двору, предпочитая тихую и скромную долю степных помещиков блеску и почестям придворных должностей. И таковы были почти все Рудницкие от давних времён до последних дней. Резким исключением оказался только последний представитель княжеского рода, Василий Семёнович. Во времена правления Софьи и владычества Голицына Василию Семёновичу пришлось по двадцатому году чуть ли не в одно время потерять и отца и мать. Оставшись сиротой, он сначала горячо было принялся за поместное хозяйство, но тихая сельская жизнь скоро прискучила ему. Его манила другая доля, другая жизнь, не исполненная такого мёртвенного покоя, а полная славных дел и громких подвигов. Его манила Москва, которой так избегали его предки, его тянуло ко двору, где совершались такие диковинные дела, слухи о которых добежали и до Ярославля. Стрелецкий бунт, падение Софьи и воцарение Петра решили его колебания. Ему самому захотелось увидеть этого могучего орлёнка, одним взмахом едва оперившихся крыльев победившего своих врагов и даровавшего мир и спокойствие дотопе мятущейся Руси. Ему захотелось послужить молодому царю. Самолюбие подсказывало ему, что он будет не последним в рядах сподвижников нового царствования. И вот в один прекрасный день Василий Семёнович, поручив управление помещьем старому дядьке, сел в дорожную колымагу и отправился в Москву.

Петру нужны были новые люди; воздвигая новое здание русского государства, он отыскивал работников, способных помочь ему, чуждых предрассудков прошлого времени. Орлиный взгляд юного царя подметил в князе Рудницком если не гениальные способности, то большое самолюбие, которое в иных людях стоит дороже талантов. И Пётр не ошибся. Василий Семёнович был дельным помощником во всём, куда направляла его царская воля, и сумел заслужить такое расположение Великого Петра, что к концу его царствования он уже числился в чине тайного советника, был сенатором и даже пожалован был царской табакеркой – награда, выпавшая на долю немногих. Но со смертью Петра кончилась и эра его служебных успехов. Меншиков, невзлюбивший за

что-то князя Рудницкого, через несколько дней после смерти Петра призвал его к себе и сказал ласковым, но не допускавшим возражения тоном:

– Знаешь, друг, что я тебе присоветую: уезжай-ка ты из Питера подбру-поздорову. Здешний воздух тебе не на пользу. Вишь ты, с лица какой кислый да жёлтый стал!

Василий Семёнович прекрасно понял, что означали его слова, спорить с всесильным временщиком ему не приходилось, и он только спросил:

– Куда же мне ехать?

– Да поезжай хоть в Москву. Ты, кажись, в ней давно не бывал. Построй себе там хибару да и живи на здоровье!

И при последних словах Меншиков даже по плечу потрепал растерявшегося Рудницкого.

И вот таким-то образом Василий Семёнович, забрав жену и дочь, отправился с ними в Москву, откупил там пустовавшую у Мясницких ворот землю и построил хоромы по образцу петербургских мазанок, только побольше да повыше да поуютнее. Женился Василий Семёнович в Петербурге на родственнице Головкина, Елене Андреевне Мансуровой, и от этого брака через шесть лет их супружеской жизни у них родилась дочь, названная Анной, в честь матери Василия Семёновича. Первые годы княжна Анна не пользовалась большой любовью отца. Отчасти это происходило от того, что он был занят службой, отчасти от того, что её рождение разрушило надежды князя Рудницкого иметь наследника своему славному имени. Но со временем острая боль несбывшихся надежд улеглась, девочка обещала быть прехорошенькой, и мало-помалу князь привязался к ней, к великой радости Елены Андреевны, боявшейся, что муж не полюбит дочь.

Да и нельзя было не полюбить молодую княжну Высокая, статная, она в семнадцать лет – когда застаёт её наш рассказ – была положительной красавицей, резко выделяясь даже в общем цветнике пышных боярских дочек старой Москвы, красота которых тогда почти вошла в пословицу. Когда княжна Анна бывала на ассамблеях, почти насильно ведённых

Петром, но привившихся очень скоро, – целый рой молодёжи окружал её, жадно ловя каждое её слово, каждый взгляд её больших тёмно-синих глаз. Весёлая, говорливая, сознававшая прекрасно силу своей красоты, Анна Васильевна была равна, одинакова со всеми, не отдавая никому заметного предпочтения, и только князя Долгорукий да Василий Матвеевич Барятинский предполагали, что сердце красавицы бьётся сильнее в их присутствии, что краска, заливающая её лицо, когда они заговаривают с нею, служит явным признаком её любовного расположения.

Но ни тот, ни другой не хотели убедиться в справедливости своих предположений, переговорив о том с самою княжной. Особенно в этом отношении был робок и застенчив Барятинский. В присутствии княжны он совершенно терялся, краснел, как девица, и только долгим влюблённым взором следил за нею. И когда порою её лучезарный взгляд падал на него, когда ему удавалось подметить на её пухлых, так и манивших к поцелую, губках ласковую улыбку по его адресу, Василий Матвеевич чувствовал себя наверху блаженства, и, прижимая руку к левой половине груди, к тому месту, где трепетно билось его влюблённое сердце, он шептал:

– Боже! Как она хороша! Как я люблю её!

Анна Васильевна знала об его любви, как знала и о том, что и князь Долгорукий изволил в последнее время обратить на неё своё благосклонное внимание. Но если бы ей пришлось серьёзно ответить на вопрос, кто из них ей больше нравится, кого приятнее чаще видеть, к кому лежит больше её сердце, – она, пожалуй, не смогла бы дать вполне искреннего ответа.

Оба они, и Долгорукий и Барятинский, были красавцы. Оба они отличались и элегантностью манер, и утончённым обращением французского образца, тогда входившим только что в моду. Ей приятно было видеть обоих; её сердечко одинаково сильно билось и тогда, когда её взгляд падал на застенчивого Барятинского... Казалось, что она любит их обоих и, во всяком случае, не может решить, кому из них отдать

предпочтение... Вопрос о предпочтении очень часто занимал теперь молодую княжну, особенно с тех пор, как она заметила косые взгляды, которые кидали друг на друга соперники, и холодность их взаимных разговоров. Чуткое сердце подсказало ей, что дело неладно, что в молодых людях просыпается ревность, что она играет с ними обоими в опасную игру, и всё-таки, несмотря на всё это, она не знала, кто из них для неё дороже.

– Да полно уж, люблю ли я их?! – нередко задавала себе Анна тревожный вопрос. – Может, так, со скуки с ними побаловать хочу. Оба они такие славные, весёлые – ну я и привыкла к ним... а любить не люблю...

Но тут тотчас же являлось воспоминание о том, что много молодёжи посещает их дом, много есть ухаживателей, таких же славных, милых и весёлых, – однако ни один из них не заставляет сильнее биться её сердце, как это бывает при появлении Долгорукого и Барятинского, ничей взгляд, кроме их взглядов, не вызывает яркой краски на её лице.

– Стало быть, люблю, – решила княжна. – Но кого из них, – ей-богу, не знаю.

И невольная улыбка скользила по её пухлым губкам при таком заключении, ясно говорившем, что она, пожалуй, любит их обоих...

В тот самый день, в утро которого Долгорукий и Барятинский встретились в чаще Марьиной рощи с пистолетами в руках, Анна снова задумалась над решением не дававшего ей покоя вопроса. Забившись в самую глушь громадного сада, княжна в сотый раз спрашивала себя:

– Кого же из них я люблю?

Но ответа не находилось. Не могла она подслушать этот ответ ни в биении собственного сердечка, ни в немолчном шёпоте игольной листвы сосен, ни в протяжном монотонном карканье ворон, целыми стаями сидевших по запорошенным снегом сучьям берёз и клёнов, и, плотнее кутаясь в меховую шубку, княжна продолжала сидеть на скамье, опустив глаза на снежный ковёр, расстилавшийся у её маленьких ног.

Вдруг вдали послышались чьи-то шаги, явственно заскрипел снег. Шаги

всё ближе и ближе...

Анна вспыхнула и торопливо поднялась со скамьи. Ей показалось, что она узнала шаги Барятинского, а когда на повороте дорожки показалась фигура князя Алексея Михайловича, совершенно против её воли, лёгкая гримаска недовольства скользнула по её выразительному лицу.

– А, князь! – протянула она. – А я думала, что это Василий Матвеевич.

Упоминание имени ненавистного соперника раздражило Долгорукого. Злобная улыбка пробежала по его тонким губам.

– Вы напрасно будете его ждать, княжна, – медленно произнёс он, – он не придёт.

Княжна вздрогнула от зловещего тона его голоса и побледнела.

– Отчего?! – воскликнула она. – С ним что-нибудь случилось?

Внезапная бледность, согнавшая краску с её щёк, и дрожащий голос, каким молодая девушка задала этот вопрос, окончательно раздражили Алексея Михайловича, и он ядовито ответил:

– Пустяки случились... Он убит!

Это слово подействовало на княжну как удар грома. Она затрепетала всем телом, как подстреленная птица, пошатнулась и, прежде чем Долгорукий успел её поддержать, с тихим стоном упала на землю...

Глава III ЮНЫЙ ИМПЕРАТОР

Солнце только что показалось из-за горизонта, когда на царской площадке в Кремле пронёсся резкий протяжный звук охотничьего рога. Это служило знаком, что его императорское величество государь император Пётр II изволил из опочивальни выйти и сейчас появится на Красном крыльце, чтоб отправиться на охоту, сделавшуюся в последнее время его любимым занятием.

Охотники, толпившиеся на площадке, услышав звук рога, торопливо бросились к лошадям, привязанным у длинной колоды против Красного крыльца; псари бережно стали оглядывать свои своры; доезжачие плотнее затянули ременные пояса... Началась обычная суета, и площадка, за минуту ещё тихая и спокойная, наполнилась неумолчным

гулом и гомоном, точно лучи проснувшегося солнца, позолотившего купола кремлёвских соборов, огненными языками загоревшиеся на стёклах дворцовых окон, пробудили и жизнь, вызвали из мёртвенного покоя группы людей, чуть не с первых минут рассвета собравшихся перед дворцом.

Всё выше и выше поднималось солнце, всё ярче и ярче горели его лучи на церковных куполах и крестах. Весь восток уже пылал пламенем, все облака на бирюзовом небе из серых стали палевыми, а то совсем багровыми. Утро вставало во всей своей дивной красе, как только что распутившаяся роза, лепестки которой ещё не потеряли своей яркой девственной окраски...

Суэта и гомон на площадке продолжались. То и дело из дворцовых сеней выбегали придворные на площадку, и под лучами солнца их расшитые золотом мундиры сверкали ослепительным блеском. То и дело с площадки кто-нибудь опрометью бросался в сени, и зелёные охотничьи камзолы, жёлтые мундиры псарей и красные кафтаны доезжачих, смешиваясь вместе, пестрили в глазах целой радугой всевозможных цветов и оттенков.

Но вот снова пронёсся звук охотничьего рога, и, точно по мановению волшебного жезла, на площадке снова всё замерло. Настала такая тишина, словно вся эта толпа, хлопотливо суетившаяся ещё минуту назад, превратилась в громадную коллекцию мраморных статуй, – так неподвижны были позы собравшихся здесь. И только по глазам, устремлённым в сторону крыльца, горевшим то робким страхом, то нетерпеливым ожиданием, видно было, что это живые люди, а не бездушные статуи.

Дождаться пришлось недолго. Не успел ещё замереть протяжный звук рога в морозном воздухе, как на верхних ступеньках Красного крыльца показалась тоненькая, сухонькая фигурка юного царя, а за ним словно вынырнули из низеньких дверей перехода пышная красавица принцесса Елизавета, Иван Долгорукий, Бутурлин, Бибииков, Волынский, испанский посланник герцог Лириа, австрийский посол граф Вратиславский и,

наконец, целая толпа различных придворных, заполнивших всю лестницу.

Юный император, как и обычно, был очень весел. Хорошенькое, почти девичье лицо его было озарено самой приветливой улыбкой; ясные голубые глаза, казалось, ещё ни разу не темневшие от грозных дум и сердечных бурь, ласково смотрели и на всех окружающих, и на кремлёвские терема, и на голубое небо, теперь точно пронизанное золотом солнечных лучей. И при взгляде на этого юного красавца, ласкового и весёлого, всем как-то дышалось вольнее и отраднее, словно он нёс с собою не грозное величие своего сана, а тихий мир и любовь, которою сиял его кроткий взгляд.

Спустившись на площадку, Пётр окинул всех ласковым взглядом и весело воскликнул:

– Здравствуйте, господа! Здравствуйте! Поохотимся сегодня. Денёк, кажись, на славу выдался.

– Хороший денёк, Петруша! Ишь, как славно дышится! – подтвердила Елизавета Петровна, подставляя своё разгоревшееся лицо свежему дыханию утреннего ветерка.

– А что, тётушка, – быстро повернулся к ней царь, обдавая её вдруг загоревшимся взглядом, – мы с тобой сегодня, пожалуй, и лисиц подыдем.

– Не только лисиц, ваше величество, – подхватил Бибииков, – по такому морозу и до волков доберёмся.

– Ну что же, терять время нечего, – воскликнул Иван Долгорукий. – Эй, коня его величеству!

Двое конюхов тотчас же подвели рослого молодого араба, – подарок персидского шаха Великому Петру. Лошадь нетерпеливо била копытами и с глухим храпом старалась укусить державших её конюхов за руки.

– Здравствуй, Алмазушка! – ласково приветствовал император своего любимого коня. – Будет тебе сегодня, старина, работа. – И, потрепав скакуна своей маленькой рукой, Пётр молодецкато вспрыгнул в седло и, вонзив в бока лошади острые шпоры, во весь опор помчался к

Боровицким воротам. Вслед за ним уселись на лошадей и остальные, и блестящая кавалькада, растянувшаяся на громадное расстояние, понеслась догонять ускокавшего царя.

Но, вопреки надеждам Петра, охота вышла далеко не успешной. Не только волков, как уверял Бибииков, но даже и лисиц не встретилось охотникам. Попадались в большом количестве только зайцы. Их затравили несколько штук, но императору вскоре заячья травля надоела, и он приказал трубить сбор на отдых.

– Не везёт мне что-то сегодня, Ваня, – грустно заметил Пётр, обращаясь к своему любимцу Ивану Долгорукому, когда жалобный звук рога облетел лесные дебри.

Иван Алексеевич пристально взглянул на Петра. Лицо царя, к его удивлению, было сумрачно, и всегда светлые глаза как будто затуманились и потемнели.

"Эге, – подумал Долгорукий, – тут дело-то не просто".

И он вслух сказал:

– Чего же вам печалиться, ваше величество? Пополудничаем – да и опять на коней: авось тогда посчастливее будем.

Но Пётр грустно покачал головой.

– Нет, Ваня, – промолвил он, печально вздохнув, – чую я, не будет нам ноне удачи.

– С чего бы так, ваше величество?! – удивился Долгорукий.

– Да уж я знаю с чего... Недаром на меня грусть напала...

И он снова печально вздохнул и, спешившись, медленным шагом направился к шатру, раскинутому на полянке для отдыха царя и его свиты.

Долгорукий поглядел ему вслед и укоризненно покачал головой.

Призывный звук рога замер. Разбившиеся было охотники собрались снова, и через несколько минут все уже сидели за столом, шумно беседуя и ещё более шумно работая челюстями.

Елизавета Петровна, заметив сумрачный вид своего племянника, обратилась к нему с ласковым вопросом.

– Что это с тобой, Петруша? Что это ты как будто не в себе?

Пётр холодно взглянул на неё и ответил:

– Так, голова что-то разболелась... Должно, скоро снег пойдёт.

Елизавета рассмеялась.

– Что ты, Петруша, какой снег! Вишь, на небе-то ни облачка!

Смешливость тётки обидела самолюбивого царя.

– Коли сейчас облаков нет, – сказал он, – так, значит, соберутся. У меня даром никогда голова не болела. А посему как кончим полудничать, так и домой поедем.

– Что ты, Петруша! – изумилась Елизавета Петровна, – с тобой, кажись, такого никогда не бывало. Бросить охоту в полуполе! А ты ещё хотел, кажись, лисиц стрелять.

Пётр сначала взглянул на неё, потом перевёл глаза на красавца Бутурлина, сидевшего рядом с нею, и насмешливо заметил:

– Мы лисиц не встречали... Может, тебе посчастливилось...

Елизавета поспешила замять неприятный разговор.

– Да, кстати, Иван Алексеевич, – обратилась она к Долгорукому, – как здоровье молодого Барятинского, которого так безжалостно подстрелил твой любезный братец?

– Да что ему сделалось! – отозвался Иван, – выжил, здоров как бык.

– Да, Ваня, – вступился император, – я тебе давно хотел сказать, да всё позабывал. Очень мне эти дуэляции не нравятся. Что, в самом деле, за глупый обычай смертоубийством споры решать? В этом отношении я хочу следовать своему великому деду. Коли что ещё подобное раз случится, я, как и он, живого и мёртвого – обоих равно велю повесить. Скажи-ка ты завтра барону Андрею Ивановичу, чтобы ко мне пришёл; я ему велю такой приказ написать, а от меня передать и Алексею и Барятинскому, что коль они снова раздорствовать будут, так я их обоих в дальние города на воеводство ушлю.

– Ну, для них гнев твоего величества не очень-то страшен, – заметила Елизавета.

Светлые глаза Петра сверкнули отблеском молнии.

– Это почему? – громко спросил он.

– Да потому, что ковь в дело любовь замешалась, тут никакие угрозы не помогут. Они оба влюблены в княжну Рудницкую и без новой крови её друг другу не уступят.

Завтрак окончился в полнейшем молчании. Юный император не сказал ни с кем более ни слова, а придворные, даже Иван Долгорукий и Елизавета Петровна, боялись нескромным замечанием вызвать вспышку гнева у молодого царя, очень опасную при его неровном, не установившемся характере.

Тотчас же после завтрака Пётр вскочил на лошадь и поскакал по направлению к Москве, даже не заботясь о том, следует ли за ним его свита.

Глава IV ПО ТЕЧЕНИЮ

Князь Барятинский остался жив. Несмотря на верность руки Алексея Михайловича, несмотря на то, что он нацелился прямо в сердце своего врага, пуля прошла немного выше, не поранив даже лёгкого. Старик Барятинский не пожалел ни средств, ни забот, чтобы выходить своего племянника. Почти все придворные лекари вместе с главным архиатером его императорского величества, англичанином Вильтростом, перебивали в палатах Барятинского, стоявших на берегу Москвы-реки, у церкви Николы Заяицкого. Их стараниями наконец удалось избавить раненого от неминуемой гибели. Помогла к тому же и могучая натура Василия Матвеевича, и через три недели он был снова на ногах, такой же весёлый и такой же жизнерадостный.

– Ну, что, Васюк? – спросил его старый князь, когда Барятинский в первый раз встал с постели, – будешь стреляться с Долгоруким или нет?

– Буду, дядюшка!

– Да неужто ты не угомонился? Неужто тебе такая охота в могиле лежать?

Барятинский весело ухмыльнулся и ответил:

– Охоты, конечно, нет, но уступать Долгорукому я не намерен...

– Да скажи ты мне толком, – перебил его дядя, – уверен ты, что княжна Анна Васильевна тебя любит, аль нет?

Василий Матвеевич на минуту задумался, потом резко тряхнул своей кудлатой головой и промолвил:

– Не знаю, дядюшка, как и сказать... По-моему, любит.

– Да ты ей декларацию делал аль нет?

– Нет.

– И разговоров никаких не имел?

– Нет, не имел.

– Так с чего же ты взял, шалая твоя голова, что она в тебя влюблена?

– По видимости, – смущённо пробурчал Барятинский.

– По какой такой видимости?

– Да так, по всему заметно. И разговаривает со мной не так, как с другими, и... ежели я невзначай взойду, так полымем вся и зардеется... Сейчас видать, что любит.

– Эх ты, дурень, дурень! А ещё гвардии офицер! – укоризненно покачал головой старый князь. – Ведь вот я стороной слышал, что она и князю Алексею такие же преферансы оказывает. Значит, она и в него влюблена? Так, что ли?

– Не может того быть! – крикнул Василий Матвеевич и даже побагровел от приступа злости. – Не может того быть, – повторил он, – не любит она его, да и любить-то его не за что.

– А если любит? – поддразнил его дядя.

– Если любит...

Василий Матвеевич понурил голову, медленно, ещё неверным шагом прошёлся из угла в угол своей спальни и потом вдруг заговорил быстро, почти захлёбываясь от волнения:

– Если любит, лучше б ей не родиться на белый свет. И её и его задущу без пощады! Коли не мне, так пусть и ему не достаётся, а уж посмеяться над собою не дам!

Старый князь печально покачал головой и спросил:

– Да неужто ж ты её так сильно любишь?

– Больше жизни, больше свету, больше себя самого!.. – пылко отозвался Василий Матвеевич.

– Эх, Васюк, Васюк! – грустно заметил старик. – Не на радость такая любовь, больно уж ты горяч!

На минуту воцарилось молчание. Старый Барятинский неподвижно сидел в кресле, понутив голову и постукивая пальцами по ручке кресла, а Василий Матвеевич продолжал мерить комнату шагами, то тяжело вздыхая, то чему-то улыбаясь, смотря по тому, какие мысли теснились в его разгорячённой голове. Но вот шаги его замедлились, и он остановился наконец перед дядей.

– Ну, дядюшка, – торжественно сказал он, – благословите меня.

Старик поднял голову и изумлённо взглянул на него.

– Ты это о чём?

– Благословите меня. Храбрости набрался и сегодня с Анной Васильевной окончательно объяснюсь и предложение сделаю...

– Так надумал?

– Надумал, дядюшка.

– Ну, коли так... Господь тебя благослови...

И старик перекрестил склонённую голову племянника широким крестом.

– Сегодня пойдёшь? – спросил старый князь.

– Сегодня.

– Ну, поезжай с Богом. Я велю колымагу заложить... А то, может, в одноколке поедешь?

– В одноколке лучше...

Через полчаса после этого Василий Матвеевич выехал со двора своих палат и направил лошадь к Цепному мосту, чтоб оттуда пробраться к Мясницким воротам.

Весна была в полном разгаре. Снег на московских улицах повсюду стаял и превратился в липкую грязь, в которой колёса одноколки вязли чуть не до половины. Свежий ветерок доносил откуда-то аромат распускавшихся почек. Москва-река, освободившаяся от ледяного покрова, пенясь и бурля, несла свои воды в далёкую Оку. Вечерело. Огненный диск солнца

медленно спускался к горизонту, обрызгав своими прощальными лучами и купола московских церквей, и жестяные крыши боярских теремов, и тёмные сучья деревьев, на которых уже набухали первые почки. Они окрасили пурпуром и золотом всё, что попало им на пути, и зажгли огненные пятна на слюдяных и стеклянных окнах домов.

Барятинский, давно не бывший на улице, почти уже отчаявшийся увидеть Божий свет в борьбе между жизнью и смертью, с жадностью вдыхал свежий весенний воздух. Всё радовало его глаз, всё занимало его внимание, точно всё, что видел он теперь вокруг себя, было для него какой-то невиданной новостью, и он, как ребёнок, восхищался каждой мелочью, каждым предметом, попадавшимся ему на дороге.

Когда он выехал на Мясницкую, набегал уже сумрак. Небо потемнело, потеряло свою бирюзовую окраску и казалось точно затянутым туманной пеленой. Кое-где печально мигали огни фонарей, поставленных в небольшом количестве по главным улицам Москвы в последние дни петровского царствования. Но эти фонари не давали почти ни малейшего света, скверное масло больше коптило, чем горело, и дымные лучи их огней точно поглощались стёклами, не успевая прорваться на свободу. Сумерки сгущались очень быстро, и когда Барятинский подъехал к воротам палат Рудницкого, наступила уже ночная тьма.

– Дома князь? – спросил Василий Матвеевич у слуги, отворившего ему двери.

– Дома-с. Ноне, почитай, никуда не выезжали. Пожалуйте!

– А молодая княжна?

– И они дома-с.

Василий Матвеевич по широкой лестнице, устланной бархатным ковром, поднялся наверх и вступил в залу, где вместо широких лавок, крытых красным сукном и панкой, ещё так недавно наполнявших боярские терема даже самых первых вельмож, чинно стояли кресла и стулья немецкой работы, обитые штофом. Громадные простеночные зеркала в золочёных рамах глядели чуть не со всех четырёх стен. Бархатные драпри довершали убранство комнаты, обставленной совершенно по

европейскому образцу.

Не успел Барятинский сделать и нескольких шагов по гладкому паркету, как дверь смежной комнаты отворилась, и на пороге выросла высокая фигура князя Рудницкого. Василию Семёновичу Рудницкому только недавно исполнилось пятьдесят лет, но невзгоды и горести последних дней, вызванные невольной опалой, которой он подвергся после смерти своего могучего покровителя, всё-таки надломили его сильную и крепкую натуру, и теперь он выглядел гораздо старше своих лет. Одетый в бархатный кафтан французского образца, тщательно выбритый, он и донныне ещё сохранил следы былой красоты. Только фигура его теперь потеряла уже свою былую стройность, да глаза, живые и горевшие огоньком ещё в недавнее время, словно потухли и ушли глубоко в орбиты.

– А, Василий Матвеевич! – весело приветствовал он Барятинского, протягивая ему обе руки, – поднялись-таки наконец! Ну, слава Христу! А уж мы-то сколько времени за вас боялись. Аннушка – так та просто с ума сошла. Плачет целыми днями да всё твердит: не выживет да не выживет! Уж я её и так и этак утешал – ничего не берёт. Ну да теперь пусть сама воочию убедится, что вы не умерли... – И, приотворив дверь в комнату, из которой он только что вышел, он крикнул: – Анна Васильевна! Плакса неутешная! Подь-ка сюда, погляди, какого гостя Бог дал!

Барятинский едва удержался на ногах, услышав последние слова старика Рудницкого. Кровь прихлынула горячей волной к его сердцу, которое забилося с такой силой, точно хотело прорваться сквозь грудную клетку. В глазах пошли туманные круги, в голове зашумело, и он должен был призвать на помощь всю силу воли, чтобы побороть так внезапно охватившее его волнение. Василий Матвеевич почти не ждал такого счастья. Несмотря на всю свою самоуверенность, несмотря на то, что он почти уверен был в любви княжны Рудницкой, всё-таки временами в нём просыпались сомнения, так как уверенность эта была основана не на фактах, а на очень обманчивых надеждах. И вдруг оказалось, что надежды его не обманули. Она плакала, что он был ранен, она была

безутешна, боясь, что он умрёт: не было сомнения, что она его любит. И с замиранием сердца, с волнением, которое достигло самых высших пределов, со слезами на глазах, но слезами радости, а не горя, он глядел нетерпеливо на дверь, из которой должна была появиться княжна Анна.

Молодая девушка не заставила себя ждать. Она торопливо вбежала в залу и, увидев Василия Матвеевича, вспыхнула до корней волос, быстро подошла к нему и дрожащим, прерывавшимся голосом воскликнула:

– Наконец-то! Слава тебе, Господи!

Старик Рудницкий в это время отошёл в сторону и издали глядел на молодых людей. Несмотря на всё своё честолюбие, несмотря на то, что он прекрасно знал, какую роль играет семья Долгоруких при юном царе, Василий Семёнович был очень недоволен ухаживанием Алексея Долгорукого за Анютой. Он был уверен, что, выдав свою дочь за двоюродного брата царского фаворита, ему с помощью такого зятя снова было легко взобраться по лестнице придворных успехов до самых высших ступеней, – и всё-таки он не желал этого брака. Князь Барятинский был ему гораздо симпатичнее. Он любил его за его весёлый, открытый характер, за безупречную честность его взглядов, за его тихий нрав, резко выделявший молодого князя из среды буйной молодёжи тогдашних времён. Он искренно жалел, когда узнал о дуэли его с Долгоруким и о том, что он ранен, и был очень недоволен, что причиной этой дуэли было кокетство его дочери, интриговавшей обоих молодых людей и долго не решавшейся, кому отдать своё сердце. Но на другой день после того, как Алексей Долгорукий так зло сообщил молодой княжне о смерти своего соперника, Анюта, оправясь от сильнейшего обморока, который вызвала ужасная весть, к своему удивлению и радости стариков Рудницких, призналась себе, что если она и любит кого, то никак не Алексея Долгорукого, а только Барятинского, – несчастного Барятинского, так ужасно погибшего из-за её легкомыслия. Зато сколько радости было в семье Рудницких, когда достоверно узнали, что Василий Матвеевич не умер, что рана его не представляет большой опасности и что в скором времени он, наверное, встанет с постели. И

более всех был рад старик Рудницкий, который уже опасался, что ему придётся породниться с Долгорукими. Теперь, глядя на молодых людей, встретившихся друг с другом так взволнованно и радостно, Василий Семёнович весело улыбался и невольно прислушивался к их смущённомуговору.

– Господи, как я рада! – говорила Аня, крепко сжимая своей ручкой мускулистую руку Барятинского, – если бы вы знали, как я истерзалась за эти дни!

И она одарила его ласковым влюблённым взглядом. И от нежного тона её голоса, от её ласкового взгляда сердце молодого человека ещё сильнее забилося, волнение ещё более усилилось, у него перехватило дыхание, и он едва смог прошептать:

– Неужели вы так сильно обо мне беспокоились?

– Ну, понятно! Я просто себе места не находила всё это время. Мне всё представлялось, что вы умираете.

– Спасибо вам, большое спасибо за участие! – прошептал Барятинский.

– А вы знаете, – вдруг быстро заговорила княжна, – этот противный Долгорукий уверил меня, что вы убиты.

Имя Долгорукого заставило Барятинского даже вздрогнуть, и он торопливо спросил:

– А он часто бывает у вас?

Молодая девушка отрицательно покачала головой.

– Нет. С того дня, как он был здесь и сообщил о вашей смерти, он заезжал всего два раза, но я к нему не выходила. Я его теперь просто видеть не могу! Противный!.. Ведь он чуть не убил вас!

У Барятинского отлегло от сердца. Ему подумалось, что теперь самая удобная минута, чтобы начистоту объясниться с княжной, и он, понизив голос до шёпота, сказал:

– Анна Васильевна, дайте мне слово, что вы не рассердитесь и выслушаете меня.

– Говорите, говорите! – воскликнула девушка, снова вся вспыхнув, предчувствуя, к чему он клонит речь.

Барятинский передохнул и, оглянувшись на старика Рудницкого, медленно прохаживавшегося в дальнем конце залы, как будто и не обращая на них внимания, заговорил:

– Я уж давно собирался поговорить с вами, да всё как-то духу не хватало. Знаете, и не робок я, а перед вами робел. А потом этот Долгорукий... Казалось мне, что вы его любите... Ну, а теперь...

Анюта лукаво улыбнулась и перебила:

– А теперь вы убедились, что я его не люблю?

– Да, убедился! – восторжённо воскликнул Василий Матвеевич и, сжимая её руки в своих, продолжал: – Убедился, а потому и храбрости набрался, чтобы с вами заговорить. Анна Васильевна, ведь люблю вас, больше жизни люблю! С первого взгляда, с первой встречи я отдал вам моё сердце. Сколько мук я принял за это время, какая бешеная ревность терзала меня, когда я видел, что вы ласковы не только со мною, но и с Долгоруким. Ведь и на поединок-то я его из-за этого вызвал.

– Глупый! – прошептала княжна, лукаво поджимая губки.

– Но зато каким счастьем полно теперь моё сердце! – продолжал молодой князь. – Скажите же мне, могу ли я просить вашей руки у князя и княгини? Согласитесь ли вы стать моей женой?

– Глупый! – ещё тише шепнула Анюта, так тихо, что он скорее по движению её губ угадал, чем расслышал её слова, – глупый! Неужели вы не убедились, что я вас люблю?

– Так вы согласны, согласны?

– Ну, понятно, согласна!

И, схватив его за руку, княжна потащила его за собою к отцу, который встретил их ласковой улыбкой.

– Батюшка, – сказала она, – благословите нас! Василий Матвеевич любит меня, и я согласна быть его женой.

Старик дрожащими руками, со слезами на глазах, обнял молодых людей и прижал их к своей груди.

– Ну вот и ладно, детки, и ладно! – пробормотал старик. – Берегите её, князь, она у нас одна!

– Господи! – воскликнул Барятинский, – да я жизнь свою отдам за её счастье!

– Верю, верю! Знаю, что ты славный малый, потому и рад с тобою породниться. А теперь к матери пойдёмте, пусть и она вас благословит.

И он первый сделал несколько шагов по направлению к двери. Но княгиня Рудницкая, полная, дебелая и до сих пор ещё красивая женщина, сама в это время вошла в залу. Взгляд её упал на любовно прижавшихся друг к другу молодых людей, и она воскликнула:

– Что ж это? И не стыдно вам без матери такое дело вершить?

– Простите, матушка! – бросилась к ней на грудь Анна, – мы сейчас только собирались идти к вам.

– Будет ворчать, старуха! – заметил старый князь, – благословляй детей, да и дело с концом!

– Бог благословит! – дрожащим голосом проговорила княгиня, осеня склонённые головы молодых людей широким крестом.

В это самое время в смежной комнате послышались чьи-то тяжёлые шаги, и через мгновение на пороге залы появился князь Алексей Долгорукий...

Глава V МСТИТЕЛЬ

Неожиданное появление Алексея Михайловича поразило и Барятинского, и стариков Рудницких, и только княжна Анна не растерялась, не потеряла самообладания и весело, с лукавой усмешкой обратилась к Долгорукому:

– Что ж это вы, князенька, обманули меня? Ведь покойник-то жив. И не стыдно вам было так зло посмеяться надо мною!

Слова княжны, её непринуждённое обращение обезоружили Долгорукого. Хотя он и не догадался, что произошло здесь за минуту перед его приходом, но когда его взгляд упал на Барятинского, с радостным видом сжимавшего в своих руках маленькую ручку княжны, смутное опасение шевельнулось в его душе. У него явилось невольное подозрение, что его игра проиграна, особенно когда он вспомнил про

обморок, каким встретила его слова о смерти Барятинского княжна Анна, и про то, что оба раза, когда он заезжал к Рудницким, она не выходила к нему.

Он сразу не нашёлся что ответить на слова молодой девушки и только как-то кисло улыбнулся. А княжна между тем продолжала:

– Так вот, ваше сиятельство, в наказание за обман я хочу вас поразить неожиданной новостью...

И она лукаво взглянула на Барятинского.

Долгорукий поймал этот взгляд и невольно вздрогнул.

– Что такое? Какую новость? – быстро спросил он.

Княжна помолчала несколько секунд, словно нарочно разжигая его нетерпение, и потом медленно, отчеканивая каждое слово, сказала:

– Я выхожу замуж.

– За кого? – хриплым голосом спросил Долгорукий.

Анна Васильевна подошла к своему жениху, взяла его за руку и, показывая Долгорукому на него, торжественно произнесла:

– Вот мой будущий супруг! Прошу, ваше сиятельство, его любить да жаловать!

Алексей Михайлович злобно закусил губу, бросил на князя Барятинского взгляд непримиримой злобы и хотел было выйти, не глядя ни на кого и не сказав ни с кем ни слова, но потом передумал и зазвеневшим, как высоко настроенная струна, голосом заговорил:

– Честь и слава тебе, княжна Анна Васильевна: сумела меня, дурака, обойти... Ну что же, любитесь на счастье... Дай вам Бог совет да любовь... только помните и моё слово. Что до меня, я вам постараюсь устроить такое счастье, что ты не раз, княжна, пожалеешь, что оттолкнула меня. А тебе, ваше сиятельство, Василий Матвеевич, я постараюсь приготовить свадебный подарок... не знаю только, будет ли он тебе на радость. Ты захотел моей вражды, – ну и получишь её! А вражда Долгоруких чего-нибудь да стоит!..

И с этими словами Алексей Михайлович отвесил насмешливо церемонный поклон, быстрым шагом вышел из залы, почти опрометью

сбежал с лестницы и, вскочив на своего аргамака, которого держал в поводу один из слуг Рудницкого, во весь опор помчался в Кремль, то и дело полосуя бока лошади то шпорами, то хлыстом.

Когда он подлетел к боковому входу дворца, лошадь была вся в пене и чуть не падала с ног.

Долгорукий спрыгнул с коня, бросил поводья одному из придворных конюхов, постоянно толпившихся здесь, и быстрым шагом направился на половину своего двоюродного брата, любимца юного царя, Ивана Алексеевича Долгорукого.

Иван Алексеевич был у себя. Когда Алексей вошёл к нему, он сидел верхом на табурете в одной рубашке и наигрывал на пастушьей жалейке какой-то жалобный мотив. Игра на дудке, которою приманивают соколов, да на жалейке составляла любимое занятие царского фаворита, и все свободные минуты, когда ему удавалось отделаться от Петра, требовавшего его постоянного присутствия, он проводил за этим занятием. Ивану Алексеевичу шёл в это время только двадцать первый год. Не получивши почти никакого образования, почти всё детство проведший на полях Бураевки, родового поместья Долгоруких в Орловской губернии, он любил тихую сельскую жизнь, любил её незатейливые забавы. В душных комнатах петербургских палат своего отца, а затем и в царских покоях он часто вспоминал счастливое время своей жизни в Бураевке, часто воскрешал в своей памяти картины местной природы, так много говорившей его юному сердцу.

Сделавшись близким другом наследника престола, а затем императора Петра Второго, он единственный из всех Долгоруких не рассчитывал, какую пользу и какие выгоды принесёт ему эта дружба. Он любил Петра как товарища своих детских игр, любил его ради него самого, а не ради его царского титула. В то самое время, как и отец его, и все его дяди вмешивались во все придворные интриги, старались извлечь как можно больше выгод из близости Ивана к юному императору, сам Иван не просил у Петра для себя ровно ничего, довольный не столько титулом царского фаворита, сколько любовью, которую питал к нему Пётр. Но

порой, когда ему надоедала суэта придворной жизни, он тяготился даже и этой любовью и, не имея возможности отправиться в свою Бураевку, запирался в своих комнатах, вынимал из роскошного с серебряными инкрустациями ящичка простую пастушью жалею и принимался наигрывать на ней мотивы, слышанные им в детстве. Вот в такую-то именно минуту и попал к нему сегодня Алексей Михайлович.

Полчаса тому назад Иван поссорился из-за чего-то с царём и убежал к себе, несмотря на то что Пётр, который не умел на него долго сердиться, чуть не насильно удерживал своего любимца. Но Иван и поссорился-то с ним потому, что ему стало что-то грустно на сердце, ему хотелось побыть одному, побеседовать наедине с своей жалею, и он, не обращая внимания на усиленные просьбы Петра, всё-таки убежал из царского кабинета.

Случайно он не запер двери, и потому Алексей застал его совершенно врасплох. Увидя входящего брата, Иван быстро вскочил с табуретки, смущённо сунул жалею в ящик и тогда только протянул Алексею руку.

– Что это с тобою? – спросил он, глядя на его взволнованное лицо. – Нездоров ты, Алёша, что ли?

Алексей Михайлович действительно был не похож на себя. Лицо его было бело как полотно, мускулы щёк судорожно вздрагивали, под глазами легла резкая тень, а сами глаза то казались совсем потухшими, то вспыхивали диким, злобным огоньком.

– Что с тобою? – снова повторил Иван. – Кто тебя так разобидел?

Алексей Михайлович печально вздохнул и тяжело опустился в кресло.

– Ах, братец, – сказал он, – враг у меня родился, и большой враг!..

И он злобно сжал кулаки.

– Кто таков? Какой враг?

– Князь Барятинский.

– Это с которым ты стрелялся?

– Он самый.

– Да чего же вы с ним теперь-то не поделили? Чего ты на него всё злобишься? Прострелил ему шкуру, чуть на тот свет не отправил, –

кажись, можно быть и довольным!

Алексей резко вскочил с места.

– Довольным? – воскликнул он. – Ну, нет, Иванушка, этого для меня мало!

– Так чего же ты хочешь?

Глаза Алексея зловеще блеснули. Он передохнул, точно в груди не хватило воздуха, и ответил:

– Чего я хочу? Немногого: только его смерти. До тех пор, пока он жив, я не успокоюсь... Я по капле выпил бы его кровь и только тогда бы утолил свою месть.

Какая-то тень скользнула по лицу Ивана Алексеевича. Он нахмурил свои густые брови и грустно покачал головой.

– Ах, Алёша, – сказал он, – какой же ты кровожадный! И что такое тебе сделал Барятинский, что ты так на него взъелся?

– Что он сделал? Он отбил у меня невесту!

– Вина не велика. Скорее ты сам виноват в этом.

– Ты, кажется, смеёшься надо мной, Иван?! – вспыхнул Алексей Михайлович.

– Я не смеюсь, я только удивляюсь, – грустно продолжал Иван. – Ты хочешь мстить человеку только за то, что в глазах девушки, которую ты любишь, он имеет больше преимуществ, чем ты. Ведь не виноват же он на самом деле, что ты ей не нравишься.

Алексей гордо поднял голову и резко сказал:

– Я пришёл к тебе совсем не затем, чтоб выслушивать твои наставления.

– Так зачем же ты пришёл? – тихо улыбаясь, спросил Иван.

– За твоею помощью.

– В чём же я тебе должен помочь?

– Уничтожить Барятинского.

Глаза Ивана Алексеевича затуманились, точно подёрнулись какой-то влагой. Он медленно встал с кресла, на котором сидел, несколько раз молча прошёлся из конца в конец комнаты и наконец, остановившись перед братом, заговорил:

– Какие вы странные все люди, Алексей! Неужели вы думаете, что если я имею счастье или несчастье быть близким к царю, то есть, по-вашему, именоваться всесильным, то я непременно обязан употреблять эту близость и эту силу на всякие подлые, мерзкие и грязные делишки? Глупый ты человек, Алексей! Неужели ты никогда не соображал, что чем выше судьба поставила человека, тем более он обязан заботиться о своей порядочности и честности? Нет, Алексей, и так люди много делают зла. Ты, может быть, думаешь, что я буду играть роль Александра Даниловича Меншикова? Так ты жестоко ошибся. Я прекрасно знаю, и знаю это на опыте того же Меншикова, что судьба бывает очень переменчива. Меншиков был почти царским тестем, полновластным вершителем судеб всей Руси, и что же? Теперь он ничтожнее каждого из наших конюхов и, наверное, очень жалеет, что не мог оставить по себе ни в ком доброй памяти, когда мог это сделать. Я не хочу подражать ему, не хочу делать людям сознательного зла, хотя бы об этом просил меня родной отец.

Он замолчал и отошёл от брата.

Алексей поднялся с места и, бросив на брата презрительный взгляд, видимо сдерживаясь, спросил:

– Так ты не желаешь мне помочь?

Иван печально вздохнул и твёрдо ответил:

– Конечно, нет. И скажу тебе ещё, Алёша, напоследок: если ты, паче чаяния, вздумаешь с Барятинским своим судом разделаться, – я тебе не защита, так ты и знай! А теперь прощай: мне к царю идти надобно.

И, надев на себя кафтан, валявшийся на диване, Иван Алексеевич дружески пожал руку брату и быстро вышел из комнаты.

Алексей Михайлович несколько минут не двигался, как поражённый громом. Не на то он надеялся, отправляясь сюда сегодня, не того он ждал от Ивана. Зная, что юный царь исполняет малейшее желание своего любимца, Долгорукий рассчитывал, что стоит ему только попросить брата, и он тотчас же достанет приказ сослать Барятинского в сибирские пригороды или, по меньшей мере, услать его на какое-нибудь дальнее

воеводство. И вдруг, вместо помощи, ему пришлось услышать от брата даже угрозу.

– Ну, хорошо же, братец Иван Алексеевич! – проворчал Алексей, выходя из дворца, – и без твоей помощи управиться сумеем, а что до угроз, коль мы самосудом разделаемся, так ведь я, братец, не из пужливых, и хоть голову придётся на плаху положить, а уж я врага своего избуду!..

И опять досталось его серому аргамаку, опять по его крутым бёдрам всю дорогу вплоть от Кремля, до своего дома, который стоял на Петровке, близ церкви Спаса в Копье, Долгорукий лупил без сожаления бичом и терзал его бока резцами шпор.

Домой он явился совершенно взбешённым и ни за что ни про что до крови избил своего любимого холопа Федьку и изругал почти всех слуг, выбежавших к нему навстречу.

– Дома отец? – спросил он Федьку, прямо проходя в свою опочивальню.

– Никак нет. Почитай, с полчаса к Остерману уехали.

Алексей Михайлович скинул с себя кафтан и, не снимая сапог, бросился на постель. Он был сильно взволнован, в голове стучали точно десятки молотов, в глазах ходили кровавые круги, сердце прерывисто билось. Ему хотелось успокоиться, заснуть, не думать ни о чём, но, как нарочно, голова продолжала работать с поразительной настойчивостью; мысли бурным вихрем проносились в ней, и благодетельный сон не смежал его отяжелевших век, отгоняемой тяжёлыми воспоминаниями о пережитых треволнениях сегодняшнего дня. Кровь продолжала бурлить по-прежнему, глухая злоба также бушевала в груди, и он совершенно не мог успокоиться. Прележав минут десять, он вскочил с постели и крикнул:

– Федька! Поди сюда!

Федька, юркнувший было за дверь, опрометью вбежал в комнату.

– Изволили кликать, ваше сиятельство?

– Да, звал, – отрывисто ответил Алексей. – Антропыч здесь?

– Известно, здесь. Где ж ему, старому чёрту, больше околачиваться!

– Позови его ко мне!

– Слушаю!

И Федька так же быстро исчез за дверью, как и появился. Алексей Михайлович, оставшийся один, задумался.

– Да, так будет лучше, – решил он, отвечая на какую-то тайную мысль, – я не переживу этого брака, и его нужно во что бы то ни стало расстроить. Что там будет потом, мне всё равно, а посмеяться над собой Барятинскому я не дам!

За дверью зашмыгали чьи-то торопливые шаги. Долгорукый быстро подошёл к двери и распахнул её.

– Войди, Антропыч, – сказал он, – мне тебя нужно.

Через порог переступил низенький, сгорбленный старикашка с опухшим от беспробудного пьянства лицом. Маленькие, так называемые мышинные глазки его беспокойно бегали по сторонам, сухие бескровные губы как-то хитро улыбались, и на лице застыла такая раболепная гримаса, которая яснее всяких слов объясняла характер этого человека.

Это и был Антропыч.

Алексей Долгорукый, избрав его орудием мести против Барятинского, прекрасно знал характер Антропыча, готового за известное вознаграждение совершить любую подлость, любое преступление.

– Ну, Антропыч, – сказал Алексей Долгорукый, когда старик переступил порог, – слушай. Мне нужно поручить тебе одно важное дело...

Глава VI. КРОВАВОЕ ПОРУЧЕНИЕ

– Вот видишь, в чём дело, Антропыч, – после небольшого молчания начал Алексей Михайлович, – есть у меня человек, от которого бы мне хотелось избавиться. Не знаешь ли ты, как это умнее сделать?

Антропыч хихикнул, и в его подслеповатых глазах замелькали красные огоньки.

– Что ж тут думать много, ваше сиятельство? – хрипло ответил он. – Чай, изволил видать, как курам головы свёртывают: чик – и готово! Была, к примеру сказать, кура аль петух, – ан жаркое лежит!

– Ну и потроши, сделай милость! – Долгорукый невольно улыбнулся. – Так-то оно так, – сказал он, – только надо это дело с опаской обделать.

– Можно и с опаской. Завёл в потайное местечко, пырнул ножом под бочок, – ан он навек и молчок!..

– Только смотри, Антропыч, – опять повторил Долгорукий, – надо так сварганить, чтоб и следов не было, потому персона важная.

– А коли важная, так тем лучше. С важной персоной и возиться много не надо. А кто, к примеру сказать, таков?

И, сказав это, Антропыч пытливо устремил свои мышинные глазки в лицо Алексея Михайловича.

– Князь Барятинский, – глухо ответил тот.

– Тэкс! – буркнул Антропыч. – Это какой же, старик аль молодой?

– Молодой.

– Тэкс! – опять протянул Антропыч. – Стало быть, по любви столкновение вышло?

– По какой любви? – вспыхнул Долгорукий. – Что ты мелешь, дурак?!

Мышинные глазки Антропыча забегали ещё сильнее, и хитрая улыбка искривила его губы.

– Да уж полно, ваше сиятельство, мы, слава Богу, не малолетки, кое-что понимаем. И о дуэляции наслышаны, и насчёт княжны Рудницкой кое-что знаем...

Долгорукий недовольно нахмурил брови и строго произнёс:

– Ну, будет глупости болтать! Давай говорить о деле!

Глазки Антропыча как-то сразу потухли, и он, внезапно сгорбившись и принизившись, смиренно отозвался:

– Извольте ваше сиятельство, будем говорить о деле. Так вам, стало быть, угодно молодого Барятинского избыть?

– Да! – отрывисто ответил Алексей Михайлович.

– И так избыть, чтобы на вашу милость никакой охулки не пало?

– Ну, понятно!

– И чтобы, значит, следов никаких отыскать было нельзя?

– Конечно.

– Извольте, можно обделать!

Сказав это, старик замолчал и впился острым взглядом в Долгорукого.

Алексей Михайлович подметил его взгляд, но не ответил сразу. Он прошёлся несколько раз по комнате, затем подошёл к окну, выходящему во двор, в стёкла которого глядела беспросветная ночная мгла, побарабанил пальцами по переплёту рамы, потом снова прошёлся по комнате ещё раз и только тогда уж, остановившись наконец перед Антропычем, заговорил:

– Так вот, Антропыч, сослужи-ка мне службу. Очень уж мне Барятинский ненавистен, и дорого я дам, если его не будет в живых. Ты знаешь меня, я щедро плачу тем, кто сумеет у меня заслужить. Но зато я беспощаден к изменникам, и если ты мне изменишь, так берегись!

И при этом он обдал Антропыча таким грозным взглядом, что тот невольно попятился.

– Что вы, помилуйте, ваше сиятельство! – забормотал он, – да я ни в жисть! По гроб ваш слуга.

– Ну то-то же! Так обещаешься всё дело исполнить?

– Жизнью клянусь!

– И избудешь мне Барятинского?

– Будьте спокойны! Как курёнку голову свернём! Когда прикажете начинать?

– Чем скорее, тем лучше! Он, вишь, женится на княжне Рудницкой, так надо ещё до свадьбы его к праотцам спровадить. И помни, Антропыч: коли уберёшь ты мне его тихим манером, – проси чего хочешь, ничего не пожалею. Ну а теперь ступай, да гляди, пей ноне поменьше, а то спьяну ненароком проболтаешься.

Антропыч обидчиво поджал губы и стукнул себя кулаком в грудь:

– Могила! Умрёт тут! А пока до свиданья!

И Антропыч торопливой расслабленной походкой поспешил выйти.

– Постой-ка, – остановил его Долгорукий, – ведь, чай, денег-то при тебе нет.

Антропыч ухмыльнулся.

– Какие у нас деньги! Ни полушки, ваше сиятельство!

– Так ведь, чай, деньги-то тебе будут нужны. Может, кого приторговать

придётся?

– Оно точно, без денег как без рук, – согласился Антропыч.

Долгорукий подошёл к укладке, стоявшей около постели, приподнял крышку, порылся там и, достав горсть серебряных рублёвиков, высыпал их в сложенные лодочкой пригоршни, старика, который следил за его движениями разгоревшимся хищным взглядом.

– На тебе пока, на разживу, – сказал Алексей Михайлович, – а коль ещё занадобится, тогда скажешь. Теперь можешь идти.

Антропыч дрожащими руками засунул полученные рублёвики за пазуху и торопливо вышел из опочивальни, отвесив князю низкий поклон.

Когда он ушёл, Алексей Михайлович облегчённо вздохнул и промолвил:

– Ну, дело налажено. Теперь поглядим, что дальше будет.

Затем он разделся, истово помолился на образ Спасителя, глядевшего на него из резного киота кротким взглядом своих ясных очей, и улёгся в постель. На этот раз сон не заставил себя ждать, и через несколько минут Долгорукий спал уже, как невинный младенец.

Антропыч недаром взял рублёвики от Долгорукого. Он не стал мешкать исполнением этого злодейского замысла и начал подыскивать надёжных товарищей для кровавого дела. А в то время найти таких надёжных товарищей в Москве не представляло большого затруднения. Москва в окружавших её слободах, населённых тяглецами, давала в те времена безопасный приют беглым и беспаспортным, а таких было много. Бежали от условий крепостного быта, бежали от рекрутства, введённого Петром Первым и которое было тогда, как новая тягота, ненавистно русскому люду. Благодаря неустроенности полицейского надзора беглецы были почти в безопасности в Москве, и поэтому она стала для них излюбленным притоном и собирала их в свои стены целыми толпами. Эти гулящие люди, не имевшие никакого легального положения, испытавшие сладость воли, не брезговали никакими способами для достижения средств к жизни, и из гулящих людей делались скоро ворами, мошенниками и разбойниками. Ворам и мошенникам искони нужны тесные местности и толпа, и эти условия в некоторых пунктах Москвы

исторически сложились со всеми удобствами для промышленяющих чужою собственностью. Днём вольные люди шныряли на Красной площади и Крестцах между беспорядочно настроенными лавками и шалашами, в которых производился торг разными предметами, начиная от старого тряпья и кончая заморскими диковинками, атласом, бархатом, скатным жемчугом и золотыми вещами. Здесь в узких проходах между лавками постоянно толпился народ, и вольным людям было легко работать в тесноте. Наступала ночь, и она не проходила для них даром. Тёмные, неосвещённые улицы, так как фонари горели только в Кремле, на Мясницкой, Петровке и Никитской, пустыри и закоулки представляли большие удобства для ночных гостей, собиравшихся шайками и грабивших встречных и поперечных, а порой забиравших и в жилые дома и уносивших всё, что попадало им под руку. И не одни грабежи и разбои совершали эти гуляющие люди. Очень часто подавленные стоны слышались в этих глухих переулках, очень часто наутро прохожие натывались на окоченевший труп какого-нибудь несчастливца, попавшего в лапы хищников. Несмотря на все усилия полицеймейстерской канцелярии, несмотря на возобновление Сысского приказа, долженствовавшего ведать все "мошенские и разбойные" дела, грабежи и разбои не прекращались, да и сами разбойники и грабители редко попадали в руки полицейских дозоров.

Они так ловко скрывали свои следы, так потайно хоронились от любопытного взгляда полицейских сыщиков, что Сысский приказ, возобновлённый в год кончины Екатерины Первой, казался почти бессильным в поимке преступников.

Да в этом бессилии не было положительно ничего удивительного. Прежде всего, Москва только в центре, около Кремля и Китай-города, представляла кой-какое подобие благоустроенного города, да и то не совсем. Улицы были так узки и тесны, что порою движение экипажей замедлялось из-за скопления возов; площади были так загрязнены, что в летнюю пору нестерпимое зловоние разносилось ветром. Дома то тянулись кверху своими мезонинами, заменявшими прежние теремные

вышки, то словно вращались в землю. Даже на главных улицах тянулись чуть не по двести сажень пустыри, закрытые покосившимися и полусгнившими заборами...

И это было в центре Москвы! Что же представляли её окраины, её слободы, далеко выдвинувшиеся за черту прежнего Земляного города!

Эти слободы были не что иное, как громадные деревушки с разбросанными в беспорядке домишками, отделявшимися друг от друга пустырями, огородами, а порой и целыми рощицами. Узкие тесные переулки выходили прямо в поле, за задами начинался дремучий бор. Грязь и беднота здесь были страшные.

И вот тут-то и ютились "вольные" люди, скрываясь от розысков полицейских сыщиков.

Самой удобной и самой излюбленной в этом отношении местностью была слобода Напрудная, где ныне находятся церковь Трифона Мученика и Лазаревское кладбище. Пользовалось расположением тёмного люда и Суцёво, и село Ново-Троицкое (на месте которой построена Крестовская застава). Эти сёла были очень удобны, главным образом, потому, что к ним с двух сторон примыкали дремучие дебри Марьиной и Сокольничьей рощ, представлявшие, в случае внезапной тревоги, самое надёжное убежище.

Антропыч хорошо знал, куда направить свои первые шаги. Старик и сам ещё недавно принадлежал к "тёмным" гулящим людям. Лет двадцать тому назад Антропыч не был таким полудряхлым стариком. В ту пору ему только что исполнилось тридцать лет, и он не помышлял, что жестокая судьба так скоро превратит его в старика, пьяницу и бродягу. Но жестокий удар разразился над ним. Боярин Краморев, чьим холопом он был в ту пору, был большим ценителем женской красоты. Как на беду, жена у Ивашки Антропова была красавица писаная, статная, с высокой грудью, с глазами огневыми, с косой чуть не до пят. И приглянулась боярину Ивашкина баба, и приказал он взять её в свой высокий терем, чтобы на ночь чесать пятки сластолюбивому боярину. Ивашка взвыл волком, когда староста, пришедший за его женой, объявил ему боярский

указ. Но боярская воля сильнее холопских слёз да нытья, и Марья стала чесать боярину пятки.

Как опущенный в воду, точно пришибленный разразившимся над ним ударом, бродил Антропыч по всему селу целых три дня. На четвёртый он резко тряхнул лохматой головой, отточил поострее нож, забрался ночью в боярскую опочивальню, зарезал Марью, спавшую в ногах боярской постели, ткнул и боярина, – да не добил, только поранил...

Должно быть, после убийства жены, которую Ивашка сильно любил, слёзы затуманили его глаза, и рука дрогнула.

Боярин Краморов заорал от боли благим матом. Ивашка не стал ждать, пока сбегутся на его крик, сиганул в окно и пропал в надвинувшемся со всех сторон непроглядном ночном мраке.

Ивашку, конечно, искали, искали очень усиленно, потому что боярин, выздоровев, посулил за его поимку сто серебряных рублей, – и не нашли. Тёмная ночь, принявшая его в свои объятия, не выдала, в какую сторону направился Ивашка.

Став "вольным", Антропыч побывал и на Волге, и в дремучих орловских лесах; добрался и до Москвы. После побега он начал пьянствовать и мало-помалу опустился до того, что даже его же братья, разбойники, решили от него отвязаться, так как он не столько помогал, сколько мешал. И вот Антропычу волей-неволей пришлось прибегнуть к покровительству кого-нибудь из сильных мира, затем, чтобы не попасть в руки боярина Краморева, жившего теперь в Москве и, несмотря на плохую старческую память, не позабывшего, однако, какую штуку проделал двадцать лет тому назад его "неверный" раб.

К покровительству "сильных" в то время обращались очень многие из беглых, и это было не в диковину. Знатные вельможи считали беглых даже лучшими слугами, чем своих крепостных холопов, и с охотой принимали их, тем более что в большинстве случаев "гулящие" были нередко прекрасными столярами, плотниками, слесарями, а порой и поварами, гораздо более умелыми, чем дворовые.

Антропыч был поваром и, прознав, что князь Михаил Владимирович

Долгорукий нуждается в хорошем поваре, отправился предложить свои услуги. За спиной Долгоруких можно было жить совершенно спокойно, и он, чтобы привлечь на свою сторону молодого князя Алексея, рассказал ему в комическом духе печальную драму, исковеркавшую его жизнь. Он не ошибся в расчёте. Алексею, большому гуляке и человеку далеко не нравственному, даже выгодно было иметь такого молодца, который под страхом угрозы или за деньги может пойти на всё, и Антропыч был зачислен в дворню. Конечно, его служба не могла казаться очень примерной, так как не проходило дня, чтоб Ивашка не был пьян, но Алексей держал его "про всякий случай". Случай приспел, и Антропыч пригодился.

Бурная жизнь и скитанье "на воле", конечно, перезнакомили Ивашку со всей московской голытьбой. Он знал, где ему отыскать нужных людей, и на другой день, в вечернюю пору, забрался в Напрудное.

Пройдя почти до последнего ряда покосившихся домишек, бросавших в ночную темноту лучи слабого света из своих кривых, запачканных окон, он наконец добрался до одной избушки, стоявшей почти на отлёте, и негромко постучал кулаком в расшатанную и временем, и бушевавшим тут гораздо сильнее, чем в городе, ветром калитку. На его стук затявкала собака, потом кто-то громко выругался и окликнул:

– Кого там шут занёс?!

– Будет лаяться-то, – отозвался Антропыч. – Отворяй лучше.

За калиткой заскрипели по расхлябавшимся мосткам тяжёлые шаги, и грубый голос послышался уже вблизи.

– Да ты кто таков?!

– Отворяй – увидишь... Из одной верёвки виты, чиниться нечего.

– Голос знакомый, а признать – не признаю, – проворчал невидимый собеседник. – Ну да лих тебя возьми, – пуцу, авось не слопаешь...

Загремел железный засов, калитка, скрипя, кряхтя и охая, распахнулась, и в лицо Антропычу ударил сноп света от фонаря, который держал здоровенный ражий детина, отворивший калитку.

– Да, никак, Антропыч? – удивлённо воскликнул он.

– Я и есть.

– Так чего же ты сразу, старая кочерга, не объявился... Что? Аль дело есть, что мы твоей милости занадобились?..

– Пойдём в избу... Там и потолкуем.

И Антропыч, отстранив с дороги детину, зашагал по скрипучим мосткам к крыльцу. Хозяин запер калитку и направился вслед за ним.

Низенькая, грязная конурка, в которую вошёл Антропыч, была совершенно пуста.

– А где же ребята, Митяй? – спросил старик, окидывая конурку, плохо освещённую дымившей и трещавшей лучиной, быстрым взглядом.

Митяй задул фонарь, спрятал его в поставец, висевший на стене, и ответил:

– Где? Известно, на работу ушли.

– Ну, оно, к примеру, и лучше. Без народу-то складней.

– А потайное дело, должно?

– Потайное.

– Ну так сказывай...

Антропыч хитро прищурил левый глаз и хихикнул:

– А угощенье где? Чай, знаешь: сухая ложка рот дерёт.

– Ишь, утроба ненасытная! – выругался Митяй, но всё-таки встал, достал из поставца полуштоф, стакан и тарелку с кислой капустой.

– Вот это ладно! – дрожащим голосом воскликнул Антропыч, наливая стакан и с жадностью проглатывая зеленоватую жидкость. – А то совсем сморило. Ну а теперь слушай...

И он принялся посвящать Митяя в подробности своего злодейского плана.

Митяй слушал молча, изредка только поглядывая на своего собеседника, но было видно, что предлагаемое дело ему вполне по душе: чем дальше говорил Антропыч, тем ярче горели глаза Митяя, и когда наконец тот кончил, Митяй вскочил и воскликнул:

– Ладно. Не сумлевайся! Всё обделаем!..

Глава VII. ПО СЛЕДАМ МЕНШИКОВА

Если Иван Долгорукий не заботился об упрочении своего положения и, довольствуясь любовью юного императора, не старался из этой любви извлечь как можно более выгод для себя и своей семьи, то совсем не так поступал его отец, князь Алексей Григорьевич Долгорукий.

Устранив Меншикова и послав его в ссылку в дальний Берёзов, он смело пошёл по его следам, заботясь не о царе, не об его благоденствии, а только об удовлетворении своего ненасытного честолюбия.

Пользуясь любовью и расположением юного Петра, Алексей Григорьевич, так же как и Меншиков, старался удалить от него все опасные элементы, всех тех людей, которые могли повредить его замыслам. Так он постарался избавиться от Александра Львовича Нарышкина, двоюродного брата Великого Петра, только что возвращённого из Пелыма, – куда он был сослан Меншиковым, – только для того, чтобы быть сосланным снова в свою деревню, но уже по настоянию князя Долгорукого. Так ему удалось отделаться от Сергея Дмитриевича Голицына, которого сильно полюбил царь, но которого всё-таки отправили посланником в Берлин. В то же самое время Алексей Григорьевич старался удалить Петра и от принцессы Елизаветы и уменьшить значение в глазах царя барона Остермана, действительно хотевшего воспитывать царя, а не сделать из него безграмотного неуча, как того добивался Долгорукий.

Будучи вторым воспитателем юного императора, Алексей Григорьевич, вместо того чтобы приохотить царственного ребёнка к занятию науками, вместо того чтобы сделать из него достойного преемника его великого деда, употреблял все усилия, чтобы вполне подчинить Петра своему влиянию и, потворствуя всем его слабостям и прихотям, стать к нему в такое же положение, в каком был опальный теперь Меншиков. Петру, конечно, больше нравилось ездить по полям и лесам, охотясь за лесными обитателями, чем сидеть в классной комнате за книжкой; ему нравились, понятно, гораздо больше весёлые товарищеские игры с фаворитом, чем сухие учёные разговоры барона Остермана, и Алексей Григорьевич

позволял императору целые дни проводить в Петровском дворце и Коломенском, вместо того чтобы заниматься науками и государственными делами, нарочно увозил его как можно дальше от Москвы на охоты, устраивая заранее по церемониалу, особенно заботясь о том, чтобы на этих охотах не присутствовали ни барон Остерман, ни принцесса Елизавета.

Он даже старался отдалять от Петра и своего сына Ивана, видя, что тот во многом не согласен с ним, далеко не сочувствует его честолюбивым замыслам. Боясь, что Иван не только не захочет помогать ему, а, пожалуй, будет противодействовать – и в силу своего более правдивого характера, и просто потому, что он с ним с некоторого времени не в ладах, Алексей Григорьевич решил постепенно отдалить юного царя от Ивана и заставить его перенести свою любовь на второго сына, Николая.

Иван Алексеевич, может быть, и догадывался о кознях, которые строит против него отец, но не только не старался их разрушить, не только не противодействовал, а, как бы и не замечая их, сам даже играл ему в руку, постепенно всё больше и больше отдаляясь от Петра.

С Иваном как-то сразу произошла резкая перемена. Ещё недавно он терпеть не мог разгула и попоек, в которых тогдашняя молодёжь проводила всё свободное время, словно стараясь вознаградить себя за воздержание петровских времён. Меланхоличный, задумчивый, грустивший по полям и лесам вотчины, в которой он провёл своё детство, Иван удалялся от шумных сборищ, избегал буйного веселья, шумным потоком клекотавшего вокруг него...

И вдруг, как-то сразу, он стал совершенно другим. Он всё реже и реже стал сопутствовать царю в его чуть ли не ежедневных поездках в Измайлово, Коломенское, Петровский дворец; перестал даже появляться на царских охотах и предался такой бесшабашной, разгульной жизни, что все знавшие его, а в особенности сам Пётр, только диву дались. В Москве заговорили об его изумительном пьянстве, о скандалах, в которых он был и первым зачинщиком и участником. Он по целым неделям не появлялся ни в доме отца, ни в своих дворцовых покоях.

Пётр страшно горевал о таком поведении своего любимца, и в это-то время Алексей Григорьевич и принялся развлекать его, пользуясь полнейшей свободой.

Хитрый Остерман всё время прихварывал, Елизавета впала в немилость, Голицына не было, – и Долгорукий стал приводить в исполнение давно обдуманый план.

Алексей Григорьевич прекрасно понимал, что положение его и его родни далеко не так прочно. В народе его не любили за то, что, будучи воспитателем царя, он не воспитывал его, а, развлекая, истощал заранее его и без того не крепкую натуру; придворные, и в особенности члены верховного совета, положительно ненавидели его и за его фавор у царя, и за заносчивость, напоминавшую по временам меншиковские времена. Нужно, следовательно, было укрепиться, стать твёрдой ногой на ту почву, которая теперь всё ещё колебалась, – а для этого самым подходящим средством было женить царя на одной из своих дочерей.

– Ставши царским тестем, – говорил он мысленно, – я буду всемогущ. Тогда уж мне бояться некого и нечего.

Но, думая так, он забывал недавний пример, прошедший перед его же глазами, – пример Меншикова, который тоже чуть не сделался царским тестем и, разжалованный, лишённый чинов, орденов и всех своих богатств, влачил теперь в глухом сибирском посёлке самую жалкую жизнь. Останавливал Алексея Григорьевича от его честолюбивых увлечений его двоюродный брат, фельдмаршал российских войск Василий Владимирович Долгорукий, человек испытанной честности и замечательного ума.

– Берегись, брат, – сказал он ему, когда Алексей Григорьевич сообщил о своих надеждах на брак царя с княжной Екатериной, – берегись: ты заходишь слишком далеко.

Алексей Григорьевич презрительно встряхнул плечами.

– Не дальше, чем зашёл Меншиков.

– Ну, он попал слишком далеко, чтобы желать следовать его примеру, – усмехаясь, отозвался Василий Владимирович.

– Так ведь он погиб потому, что восстановил всех против себя, – горячо возразил Алексей Долгорукий.

– А ты такой безвинный агнец, что против тебя никого нет? Ошибаешься, Алексей Григорьич, жестоко ошибаешься. Из-за тебя нас всех ненавидят. И скажу тебе прямо, что коль ты на такую глупость польстишься да просватаешь за царя дочку, – плохо будет дело. Пропадём мы все ни за грош.

– Будет каркать, ворона!

– Да я не каркаю. Я дело говорю.

– Да чего ж опасаться?!

– А того, что брак царя на подданной ныне немислим.

– Да на ком же наши цари раньше женились?! – воскликнул Алексей Григорьич. – Чай, всё на подданных...

– Так то было раньше. А ноне совсем другая статья. Теперь не дадут усиливаться одним в ущерб другим... Там как ты хошь, коли ни семьи, ни себя, ни нас не жалеешь... А всё скажу: не дело задумал.

Но и увещания брата не образумили Алексея Григорьевича. Он слишком был уверен в расположении царя, чтобы бояться грядущих бед. Да и перспектива будущего величия была слишком заманчива, чтобы честолюбивый вельможа мог отказаться от своих надежд и мечтаний.

И он начал приводить в исполнение свой замысел.

Убедить юного императора в ошибочности воззрений его великого деда не составило большого труда уже потому только, что могущественной союзницей Долгорукому явилась бабка царя, инокиня Прасковья, – насильно постриженная первая супруга Великого Петра. Она ненавидела всё, что он сделал, чему положил основу и что заповедал довершить своим потомкам. Она не была большой поклонницей древнерусских обычаев, но защищала их перед своим царственным внуком только потому, что эти обычаи отверг и искоренил Пётр. Она ничего не имела против Петербурга, как столицы и города, но требовала от внука, чтобы столица была снова в Москве, потому что Пётр построил Петербург и Пётр же сделал его столицей, отняв у Москвы её древнее главенство.

Царица-инокиня даже сознавала, что обычай жениться на подданных создаёт вокруг царя смуты, козни и тревоги, но настаивала, чтоб юный император не брал в жёны иностранную принцессу, – и опять-таки потому, что это завещал Пётр. Словом, нелюбовь ко всему, до чего коснулась рука её гениального супруга, была так велика, что она отворачивалась, когда в её келью в Вознесенском монастыре царь входил в своём бархатном, расшитом золотом французском кафтане... Пётр уничтожил древнерусскую одежду, она желала, чтобы внук восстановил её...

Молодой царь соглашался на все требования бабки, поддерживаемые советами Алексея Григорьевича, – и даже на перенесение столицы в Москву, – но не соглашался на измену французскому платью. Ему так нравились его изящные, красивые кафтаны, и так смешно было царское одеяние прежних дней.

И это единственное, в чём проявил он свою самостоятельность.

С помощью бабки царя Алексей Долгорукий решил провести и свой проект брака Петра со своей младшей дочерью.

Алексей Григорьевич решил ковать железо, пока горячо.

Зайдя вечером того же дня в императорский кабинет, он с самой невинной улыбкой обратился к Петру:

– А я, ваше величество, к вам с новинкой...

– Что такое? – недовольно спросил император.

– Под Царицыном волков подняли.

Глаза царя, против воли, радостно блеснули, но он так же недовольно бросил:

– Ну и пусть их...

– Да вы, никак, нездоровы, ваше величество, – участливо заметил Долгорукий. – А я-то велел на завтра охоту готовить... Ишь ты, какая незадача!

– Ну, что за нездоров! – отозвался Пётр.

– Так как же, ваше величество, прикажете отменить завтрашнюю охоту?

Царь на минуту задумался, провёл рукой по пылавшему лицу и потом

ответил:

– Ты говоришь, волков много?

– Страсть сколько!

– Так зачем отменять? Будем охотиться. Не всё плакать, надо и повеселиться! – словно отвечая на какую-то тайную мысль, раздумчиво заметил он и потом быстро воскликнул:

– Будем веселиться! Чай, небось и твои завтра поедут?

– Всенепременно, ваше величество!

– И Катя будет?

– А она-то уж и подавно! Небось знаете, государь, как она вас любит? Ей только и радости, чтобы близ вас побыть. И наяву-то вы ей грезитесь, да и во сне она ваше величество кажинную ночь видит. Давеча, как отъезжал я к вам во дворец, у ней только и разговору было, что какой-де наш император красавчик да что-де за счастливица будет та, кого он себе в супруга выберет!

Пётр самодовольно улыбнулся и спросил:

– Так неужто она меня и впрямь так сильно любит?

– Как кошка влюблена! Говорю, что у ней и разговору только что про ваше величество: "Здоров ли государь? Да что он мне сумрачен показался? Да что как будто побледнел малость!" Просто все уши, можно сказать, прожужжала. А как сказал я ей, что на завтра охота назначена, да в шутку посмеялся, что ей на той охоте не быть, так покраснела даже вся, и слёзы в три ручья хлынули. Едва-едва её успокоил. Совсем вы её зачаровали, ваше величество!

Алексей Григорьевич улыбнулся самой добродушной и самой невинной усмешкой.

Улыбался также и Пётр. Рассказ Алексея Григорьевича о любви к нему княжны Катерины произвёл на юного царя самое благоприятное впечатление. Он был донельзя самолюбив и избалован раболепным поклонением, льстивым ухаживанием придворных, очень любил сознавать неотразимую силу своей красоты, и каждая новая любовная победа невыразимо радовала его юное сердечко. Притом же княжна

Екатерина Долгорукая была красавица, по которой вздыхала большая половина придворной молодёжи, и это вдвойне увеличивало для Петра цену её любви к нему.

– А что, Григорьич, – воскликнул он, – ведь Катя-то прехорошенькая! Долгорукий развёл руками.

– Не мне судить, ваше величество! Отец детям плохой судья!

Пётр улыбнулся какой-то внезапной мысли и, хитро прищутив свои проясневшие глаза, медленно спросил:

– А что, Григорьич, если я в Катю влюблюсь?

Алексей Долгорукий почувствовал, как сильно забилося его сердце, как кровь горячей волной прихлынула к лицу, и, страшным усилием воли поборов охватившее его волнение, равнодушным голосом произнёс:

– Я не указчик вашему сердцу, государь!

– Да нет, ты не виляй! – воскликнул он, – ты толком отвечай мне, что ты на это скажешь?

– Безмерно буду счастлив, ваше величество! Любовь царская, что свет солнца, – украшает людей!

Пётр опять улыбнулся. Голова его продолжала работать с лихорадочной быстротою, мысли целыми вереницами, как облака под ветром, проносились в ней.

И он снова обратился к Долгорукому с вопросом:

– А что, Григорьич, если я за Катю посватаюсь, ты мне не откажешь?

Алексей даже побагровел от радости и изумления.

– Ваше величество, – пробормотал он, – да нешто я посмею! Вы шутить изволите!..

– Нет-нет, какие шутки! – возразил Пётр. – Я это всерьёз. Ну, да ладно! – быстро перебил он себя, – мы об этом с тобой столкнуться успеем. Так, значит, завтра мы охотимся. Волков, говоришь, много? Уж то-то я завтра повеселюсь, то-то повеселюсь!

И он совсем по-детски радостно захлопал в ладоши.

Глава VIII. ЕКАТЕРИНА ДОЛГОРУКАЯ

Весна 1729 года была на диво сухая и холодная. За весь апрель не было почти ни одного дождя, и хотя почки и налились на деревьях, но не распустились даже и в начале мая.

Но вот 6 мая выпал первый сильный дождь, температура пошла на повышение; юго-западный ветер, леденивший своим холодным дыханием, утих, и горячие лучи солнца стали пригревать окоченевшую землю. Деревья начали быстро покрываться свежою зеленью, пробилась первая травка и быстро потянулась кверху, словно навстречу живительным лучам солнца; зацвела черёмуха, и её одуряющий аромат становился с каждым днём сильнее и сильнее; покрылись цветами, точно белым налётом, вишни и яблони, и снова ожили московские и подмосковные сады при боярских теремах, снова в их густых полутёмных прохладных аллеях зазвучали весёлые серебристые девичьи голоса, как будто соперничая с звонким стрекотаньем и чириканьем разных пташек, целыми тучами реявших в воздухе.

Ожил и старый дремучий сад при доме князя Алексея Григорьевича Долгорукого. Зазвенели и в нём птичьи песни, наполнил и его тёмные аллеи серебристый смех и весёлый говор княжеских дочерей.

Сад Долгорукого славился почти на всю Москву, и ещё в давние времена, при царе Иоанне Грозном, один из предков князя выписал нарочно из неметчины садовника, которому и поручил сделать свой сад таким, какого ни у кого в Москве нет, не было и не будет. И немец-садовник из громадной рощи, окружавшей боярский дом, сделал действительно невиданное чудо, в создании которого немалой помощницей ему была и сама природа. Она точно излила на рощу князя Долгорукого всю свою щедрость и наделила её такими красотами, пред которыми невольно останавливался в восхищении всякий.

Громадные купы высоких сосен, гордо поднимавших к небу свои верхушки, как верные стражи этого лесного царства в симметричном порядке стояли на лужайках, поросших высокой сочной травой. Кончались лужайки, охраняемые хвойными великанами, а за ними начинался дремучий бор, в котором перемешивались почти все лесные

породы средней и северной России. Могучие липы стояли бок о бок с тонкими клёнами, яркая зелень которых эффектно оттенялась на тёмной листве лип; белоснежные стволы берёз вытягивались между ними; кудрявая ольха перемешивалась с орешником и, точно сторонясь от колючей зелени гигантских елей, гнула в сторону свои гибкие стволы, покрытые гладкою глянцевитой корою...

Деревья стояли сплошною стеною, так сплетясь между собою ветвями, что вверху образовалась как бы лиственная сеть, через которую солнечные лучи с трудом пробили себе путь и слабыми бликами дрожали на траве и коре лесных великанов. То вдруг сплошную чащу разрывал овраг, заросший молодыми побегами, папоротником, лопухами и кустарником. То резвый ручеёк, неизвестно где бравший начало и где пропадавший, словно вырывался из-под земли и серебристой змейкой извивался среди отлогих бережков, с которых в него гляделись гибкие прутья тальника и вербы. И чем глубже в чащу – тем больше было эффектов... Немец-садовник с любовью принялся за дело. Он не испортил первобытной прелести рощи, он не срубил дерзновенной рукой ни одного деревца, а только приукрасил дикие картины природы. Через ручейки перекинули мостики; лужайки превратились в цветники; озеро, заросшее ряской, было расчищено и только у берегов было затянута водорослями, из зелени которых приветливо и грациозно гляделись белые цветы кувшинок и лилий; посреди озера вырос островок, на котором появилась прехорошенькая беседка; из-за тёмной листвы кустарников и деревьев забелели мраморные формы привезённых из-за рубежа статуй; заросшие и засоренные тропинки расчистили; берег Москвы-реки, куда выходила роща, обнесли забором, и сад Долгоруких сделался действительно славным на всю Москву. Семейство Долгоруких было очень богато, и поэтому сад не только не ухудшался в последующие времена, а, напротив, делался всё красивее и красивее.

Только один Алексей Григорьевич из всех потомков стольника Степана Долгорукого счёл непроизводительными расходы на поддержание сада в порядке и чуть было снова не превратил его в прежнюю дикую чащу,

если б этому не воспротивились фаворит царя и княжна Екатерина. Особенно последняя страстно любила свой старый сад. Она проводила в нём почти целые дни, то бегая взапуски со своими подругами по его тёмным аллеям, то забираясь в самую чащу, куда не проникали даже лучи солнца, то просиживая целые часы в беседке на озере, где посещали её такие сладкие, такие радужные мечты. Особенно молодая княжна полюбила эту беседку с тех пор, как впервые убедилась, что и её сердечко забило сильнее под жарким дыханием всеильной страсти. Но не юный император, вопреки словам Алексея Григорьевича, внушил ей это сладкое чувство, не он был предметом её девических грёз, не о нём мечтала она в тишине беседки, задумчиво поникнув белокурой головкой и словно прислушиваясь к трепетному биению сердца, наконец заявившему свои права.

Молодая княжна, несмотря на то что ей уже было 18 лет и что она рано вырвалась из девической светёлки, сразу перейдя к бурной придворной жизни, несмотря на то что её окружали целые толпы блестящей придворной молодёжи, друг перед другом стараясь заслужить её расположение самым льстивым и раболепным ухаживанием, оставалась равнодушной ко всем бесчисленным поклонникам своей красоты и предпочитала скромную девическую долю самому блестящему замужеству. Но наконец полюбила и она.

Месяца два тому назад, на ассамблее у графа Головкина Екатерине Алексеевне полномочный австрийский посол граф Вратиславский представил своего шурина графа Милезимо, блестящего молодого гвардейца, который одним взглядом своих чёрных выразительных глаз покорила сердце юной красавицы. Княжна полюбила его с первого взгляда, с первого слова и рассталась с ним совершенно очарованная и элегантностью его обращения, и его умением поддерживать разговор, а самое главное – красотой его лица, мужественного и выразительного.

И на графа Милезимо она произвела не менее сильное впечатление. Тот тоже не остался равнодушен к её хорошенькому личику, к её пышной фигурке – и решил, воспользовавшись близостью своего шурина к

Алексею Долгорукому, во что бы то ни стало сделаться постоянным гостем его семьи.

И мало-помалу молодые люди стали встречаться всё чаще и чаще, и всё сильнее разгоралось пламя любви в их ещё не затронутых ранее страстью сердцах. Когда Алексей Григорьевич догадался, какое чувство приводит в его дом графа Милезимо, пока он понял, отчего таким ярким заревом вспыхивают щёки его дочери, когда она встречается взглядом с глазами Милезимо, – было уже поздно. Катя была страстно влюблена в молодого австрийца, и тот платил ей такой же страстной взаимностью. Наступившая весна, совместные прогулки по тёмным аллеям громадного сада, наполненного ароматом только что раскрывших свои венчики цветов, катанье в лодке по озеру, – всё это ещё более сблизило молодых людей, и Алексей Григорьевич серьёзно задумался, как оборвать их привязанность, потому что брак дочери с хотя и знатным, но не имевшим почти никаких связей в России иностранцем вовсе не входил в его расчёты.

– Слушай, Катюша, – сказал однажды князь дочери, – мне очень не нравится твоё сближение с Милезимо.

– Почему же, батюшка? – вся вспыхнув, спросила княжна.

– Да потому, что он, кажется, мечтает стать моим зятем... Ну а этому не бывать. Дочь Долгорукого никогда не выйдет замуж за схизматика, – резко закончил он.

Княжна побледнела, подняла на отца свой ясный, теперь горевший тайною тревогою взгляд и робко спросила:

– Ну а если он перейдёт в нашу веру?..

Долгорукий изумлённо расширил глаза.

– А зачем бы ему это делать? В нашу веру-то переходить?! – воскликнул он.

– Потому что он меня любит, – тихо ответила Катя.

– А ты это, позволь тебя спросить, почему знаешь?

– Он мне сам сказал, – ещё тише прошептала девушка.

– Так вот как! У вас и до объяснения дело дошло! Без ведома отца с

матерью шуры-муры заводить стала! Ну так я с тобой, матушка, по-свойски разделаюсь. Изволь-ка ты, матушка, отсель с твоим рыцарем больше разговоров никаких не иметь, а его я прикажу на порог не пускать!

И в тот же самый день Алексей Григорьевич отдал строгий приказ своим слугам:

– Коли господин австрийский граф Милезимо пожаловать изволит, так отнюдь в покои его не допускать. Сказывайте, что ни князя, ни княгини дома нет, а без них принимать никого не велено.

Но и эта мера не принесла существенной пользы. Княжна Екатерина, привыкшая к своеволию, не захотела подчиниться строгому родительскому приказу, не захотела так легко отказаться от любви, новым светом озарившей её жизнь, и нашла способ видеться со своим возлюбленным под густым покровом раскидистых деревьев своего сада.

В заборе, выходившем на Москву-реку, была с давних времён проделана маленькая калиточка, и вот в эту-то калиточку, в отсутствие Алексея Григорьевича, и пробирался граф Милезимо, чтобы расцеловать свою ненаглядную Катю, чтобы шепнуть ей пару-другую ласковых, полных страстного обожания слов... И много таких слов подслушали вековые деревья старого сада, много поцелуев поймал на лету лёгкий ветерок, шумевший в их густых ветвях.

Тайны этих любовных свиданий не знал почти никто в княжеском доме. Даже сёстры княжны Екатерины не догадывались, почему она так любит в тихую вечернюю пору, когда сумерки прозрачным флёром окутают всю землю и яркие звёздочки зажгутся в небесной выси, прогуливаться в самой отдалённой части сада, примыкающей к берегу Москвы-реки, почему она старается так отделаться от них, когда они предлагают сопровождать её на прогулку, и остаётся дома, если они отправляются гулять. Эту тайну знала только одна горничная княжны, чернобровая и черноглазая Агаша, которая служила главной посредницей в отношениях влюблённых между собой.

Княжна Екатерина в последние дни всё чаще и чаще, чуть не ежедневно,

совершала свои вечерние прогулки. Так было и в тот вечер, в который её отец рассказывал юному императору о том, как любит его Катя.

Стемнело. Звёзды целыми мириадами высыпали на почерневшее небо. Кроткий лик луны уже смотрел на землю, обливая и деревья, и крышу княжеского дома, и спокойные воды озера своим бледным серебристым светом. Где-то в самой чаще пел соловей, и его громкое страстное чоканье разносилось кругом, отдаваясь глухим эхом где-то далеко-далеко.

Княжна Екатерина в сопровождении Агаши быстро сбежала с террасы, прошла цветник и направилась по тропинке, в самом конце которой серебристым пятном отливал клочок видневшегося вдали озера, к которому вела эта тропинка. Молча прошла она до самого берега и остановилась здесь на минуту, точно залюбовавшись дивной картиной, раскинувшейся перед её глазами. А залюбоваться было можно. Точно громадный серебряный щит, лежало озеро у её ног. Не было ни малейшего ветерка, и вода казалась заснувшей, точно зачарованная мягким светом луны, глядевшей в неё с неба, как в зеркало. Резкими чёрными силуэтами, отбрасывая длинные тени, тянувшиеся по береговым скатам, стояли деревья, точно не смея шелохнуться, не смея нарушить мёртвую тишину, принесённую наступившей ночью. Только в траве неумолчно трещали кузнечики, как будто стараясь заглушить соловьиное пение, всё сильнее и сильнее доносившееся сюда из чащи.

Несколько минут простояла княжна Екатерина, не проронив ни одного слова, устремив свои большие, глубокие, как бездонное море, и такие же тёмные глаза на серебристую воду озера; но наконец она встрепенулась и, повернувшись к Агаше, молча стоявшей сзади неё, проговорила:

– Ты верно расслышала, что он сказал? Может, он не обещался сегодня прийти?

– Ну вот, ваше сиятельство, – отозвалась Агаша, – с какой же мне радости врать-то! Так и сказал: как завечереет, так и приду.

– Так что же его нет?

– А уж это Бог его знает! Должно, что задержало.

Екатерина Алексеевна спустилась почти к самой воде и уселась на маленькую скамейку, стоявшую тут. Склонив на грудь свою хорошенькую головку, она чутко прислушивалась к малейшему шороху, который порой доносился из чащи; несколько раз слух её обманывался каким-то таинственным хрустом, она быстро вскакивала со скамьи, поворачивала голову в ту сторону, откуда донёсся звук, но хруст не повторялся, и только соловьиная песня звучала всё громче и громче, точно усиливаясь здесь над озером, проносясь над его сонной водой. И княжна снова садилась, снова печально опускала голову и снова продолжала с мучительной тревогой вслушиваться в тишину ночи.

Но вот резко хрустнула где-то сухая ветка, хруст повторился, послышался неясный шорох, словно в прибрежных кустах затрепыхалась какая-то птица. Княжна торопливо встала с места, и её глаза разглядели чью-то тёмную фигуру, как будто вынырнувшую из тёмной зелени ивняка, спускавшего к воде свои гибкие ветви. Княжна вскрикнула и бросилась навстречу этой тёмной фигуре:

– Фридрих! Ты?

– Я, моя дорогая! Небось заждалась? Раньше вырваться никак было нельзя.

– А уж я думала, что и не придёшь.

– Как же не прийти. Для меня каждая встреча с тобой несёт столько радости и блаженства, что послушаться твоего призыва было бы прямо преступлением!

И, обвив гибкий стан молодой девушки своими сильными руками, он прижался к её губам долгим, страстным поцелуем.

– Но что такое случилось, моя дорогая? – спросил он, подводя княжну к скамейке и усаживаясь вместе с нею. – Мне Агаша сказала, что ты хочешь сообщить какую-то важную весть.

Проясневшие глазки княжны снова потемнели. С пылавших ярким румянцем щёк сбежала краска, и она прошептала:

– Ах, Фридрих! Нам грозит большое горе, нам придётся скоро расстаться, и расстаться навсегда, на всю жизнь.

Милезимо побледнел в свою очередь и тревожно спросил:

– Как расстаться? Почему? Разве ты меня разлюбила? Разве ты не хочешь быть моей женой?

Грустная улыбка скользнула по губам Екатерины Алексеевны. Она тяжело вздохнула и печально покачала головой:

– Женой... Глупый! Неужели ты ещё надеешься, что отец даст согласие на наш брак? Этому никогда не бывать! – со слезами на глазах добавила она.

Милезимо подметил эти слезинки, как два брильянта, сверкнувшие на её ресницах в лучах месяца, и стал утешать её, покрывая поцелуями её руки.

– Полно, не плачь, дорогая! Придёт и для нас счастливая минута. Твой отец не откажет отдать тебя мне, когда сам император будет сватом.

– Сам император! – повторила княжна. – Напрасно ты надеешься на его помощь...

– Как? Разве твой отец осмелится отказать такому свату?

– Конечно, нет. Но император не будет меня сватать.

Милезимо самодовольно усмехнулся.

– Ты напрасно так думаешь, Катя. Граф Вратиславский, мой родственник, знает о нашей любви: он обещал мне свою поддержку и сам будет просить государя быть моим сватом. Царь его очень любит и наверное не откажет ему в этой просьбе.

Катя печально покачала головой.

– Нет, Фридрих, – повторила она, – ты ошибаешься: этого никогда не будет!

– Да почему? – воскликнул Милезимо. – Как ты можешь это знать?

– Очень просто. Я для того тебя и хотела сегодня увидеть. Ты напрасно рассчитываешь на помощь царя, потому что сам царь хочет сватать меня в жёны.

– Кому? – быстро спросил Милезимо.

– Себе самому.

Милезимо был так удивлён, что долгое время не мог произнести ни

слова. Эта новость совершенно ошеломила его.

– И ты согласишься? – воскликнул он наконец.

– Что же я могу сделать, – печально ответила Катя. – Так хочет отец, так хочет царь. Я не могу идти против царя и отца...

– Да если б и пошла, то из этого ничего не выйдет! – прозвучал сзади них чей-то мужской голос.

Катя испуганно вскрикнула и прижалась к Милезимо, который оглянулся назад и встретился лицом к лицу с князем Алексеем Григорьевичем Долгоруким, злобно глядевшим на него.

Глава IX. ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА

Минуту продолжалось томительное молчание. Князь Долгорукий словно наслаждался смущением и испугом молодых людей, совсем не ожидавших его внезапного появления. Они так были уверены в своей полнейшей безопасности, особенно зная, что никто не догадывается об их таинственных свиданиях, что почти не принимали никаких мер предосторожности, если не считать Агаши, стоявшей настороже на тропинке, шедшей от озера к террасе княжеского дома.

Этой-то беспечностью влюблённых и воспользовался Алексей Григорьевич, чтобы захватить их врасплох. Он уже давно догадывался, что своенравная дочь не покорилась его приказанию перестать видеться с графом Милезимо, почти знал об их свиданиях, происходивших то в части сада, прилегавшей к Москве-реке, то на берегу озера, но не хотел до поры до времени лишать их призрачного счастья. Не будучи вполне уверен в том, что юный царь согласится надеть императорскую корону на голову княжны Екатерины, он пока позволял дочери играть в любовь с австрийским графом, который всё же мог почесться видным женихом и которого он держал про запас на всякий случай, совершенно забывая о том, что такая игра может завести молодых людей слишком далеко, может принести совсем нежелательные результаты. Чёрствое и расчётливое сердце князя Долгорукого как-то не допускало того, что молодая княжна может настолько привязаться к любимому человеку, что

ни блеском императорской короны, ни обманчивым призраком грядущего счастья не удастся вырвать из её сердца любовь графа Милезимо, не удастся заставить забыть его. Он вполне был уверен, что если честолюбив он, так честолюбива и его дочь...

И вот только сегодня, убедившись вполне, что его заветные надежды – не обманчивая мечта, услышав из уст царя просьбу согласиться на брак с княжной Екатериной, Алексей Григорьевич решил положить конец ночным прогулкам дочери и заставить её отказаться от любви к графу Милезимо.

Из дворца он вернулся сравнительно рано и, узнав, что княжна отправилась гулять в сад, переоделся в шлафрок, надел войлочные туфли и отправился на берег озера, чтобы накрыть влюблённую парочку. Агаша не могла заметить его приближения, потому что он пришёл другой дорогой, совершенно противоположной той тропинке, где сторожила она. Он пробирался так неслышно по мягкой траве, что занятые разговором молодые люди были положительно поражены, как ударом грома, его голосом, прозвучавшим сзади них.

– Так вот как, ваше сиятельство, дочка моя достолюбезная! – загремел Долгорукий. – Так-то вы мои приказы исполняете! Вместо того чтобы прогнать от себя этого австрийского побродягу...

– Князь!.. – задыхаясь от негодования и грозно схватываясь за шпагу, воскликнул Милезимо.

– Постой, сударь... У нас с тобой опосля разговор будет, – хладнокровно отозвался на его гневное восклицание Алексей Григорьевич. – Так вместо этого-то, – продолжал он затем, – ты всё ж с ним потайные тет-а-тет имеешь, да ещё государственные консилиии ему сообщаешь... Хорошо, сударыня, на что уж лучше! Не ждал я такого срама от собственного детища... Ай да княжна Долгорукая!

Княжна Екатерина, бледная, помертвевшая, неподвижно сидела на скамье, каждую минуту готовая лишиться чувств, даже и не слыша грозных слов своего отца, а Долгорукий продолжал, всё возвышая и возвышая голос:

– Что же теперь мне делать? Ведь, пожалуй, и на улицу показаться будет стыдно, пальцами показывать начнут!.. Ведь ты мою седую голову опозорила!.. Ну да я с тобой иначе говорить стану. Долго я с тобой, Катерина, мягкостью думал поладить, да толку мало; теперь уж не взыщи! Запру тебя в твоей комнате и шагу никуда не дам сделать. Так и будешь сидеть взаперти, ровно преступница!..

Он замолчал на минуту, передохнул и, повернувшись к графу Милезимо, всё ещё стоявшему в грозной позе, положив руку на эфес шпаги, заговорил:

– Ну, а теперь, господин граф, и до тебя черёд дошёл. Знаешь ли ты, сударь, что по нашим российским законам с такими татями ночными делают, что в чужие сады забираются да воровством промышляют? Прямо в кандалы заковывают да посылают в Сибирь соболей ловить...

– Я не вор, князь! – гордо отозвался Милезимо. И под лучами месяца, падавшими на его красивое, мужественное лицо, ясно было заметно, каким ярким заревом вспыхнули его щёки от незаслуженного оскорбления.

– Не вор, сказываешь? – злобно расхохотавшись, спросил Долгорукий. – А за каким же ты, позволь тебя спросить, делом в ночное время в моём саду объявился? Так нешто воздухом подышать захотелось? Да знаешь ли ты, сударь, – грозно воскликнул он, делая резкий шаг к Милезимо, – да знаешь ли ты, сударь, что я тебя вот сейчас на месте убить могу, как ночного татя и разбойника?

– Князь! – крикнул Милезимо, выхватывая шпагу из ножен, – не забывайте, что вы говорите с полковником австрийской гвардии.

Долгорукий обидно рассмеялся.

– Не велика птица! – сказал он. – У нас такими хоть пруд пруди! Да что ты свою шпажонку-то вытащил. Аль думаешь, побоюсь я тебя очень? Так ты это напрасно. Созову холопье да прикажу тебя взашей прогнать. Попомнишь, как по чужим садам путешествовать! Уходи-ка лучше добром, пока тебя челядь мётлами отсюда не выгнала, да вдругорядь в эти места близко не захаживай, а не то быть тебе на цепи да попробовать

плетей в Сыскном приказе!

Милезимо вздрогнул, как от удара хлыстом по лицу, глаза его налились кровью, и, не помня себя, он бросился на Алексея Григорьевича. Ещё мгновение – и его шпага, серебряной полоской сверкнувшая в воздухе, вонзилась бы в грудь Долгорукого, но в это время молодая княжна, сама едва держась на ногах, с диким криком бросилась к Милезимо и схватила его за руку.

– Фридрих, ради Бога, опомнись! Что ты делаешь! – простонала она. – Ведь это мой отец.

Граф тяжело вздохнул, выронил из рук шпагу и, поддерживая почти бесчувственную молодую девушку, сказал Долгорукому:

– Счастлив ваш Бог, князь, что она удержала мою руку. Иначе я стал бы преступником, а вы – бездыханным трупом! Но всё же такие оскорбления, какие нанесли вы мне, не прощаются. Мои секунданты будут у вас завтра.

И, бережно опустив Катю на скамейку, он поцеловал её в губы и быстрым шагом направился по берегу озера к заповедной калитке, в которую уже не суждено было ему, наверное, войти ещё раз.

Долгорукий был так ошеломлён неожиданным нападением на него графа, что долгое время не мог прийти в себя. В его ушах всё ещё звучал резкий свист этой стальной полоски, холодным блеском сверкнувшей в лучах лунного света и чуть не вонзившейся в его грудь. Он точно видел ещё загоревшиеся диким огнём глаза Милезимо, когда тот кинулся на него. Вмешательство дочери, её слова, прощальный поцелуй, который запечатлел на её губах, уходя, Милезимо, – всё это, казалось, он точно видел во сне, и только тогда, когда шаги австрийца замерли в отдалении, Долгорукий наконец очнулся и вспомнил слова Милезимо, сказанные им на прощанье.

– Мальчишка! – заревел он, – щенок! Грозить мне, князю Долгорукому?! Да я тебя в порошок сотру! Я тебя ушлю туда, куда Макар телят не гонял.

Но, конечно, граф Милезимо не слышал этих грозных слов, обращённых к нему разгневанным князем. Зато их слышала Екатерина Алексеевна, и,

зная злобное сердце отца, зная его силу при молодом царе, она испугалась за милого сердцу человека.

– Батюшка! – воскликнула она, бросаясь пред ним на колени, – прости Фридриху, что он поднял на тебя руку: ты сам его вызвал на это.

Князь сначала с удивлением поглядел на дочь, точно не понимая, как она попала сюда, но потом всё вспомнил, и новый припадок злости и гнева вновь охватил его.

– А ты, подлая, – заорал он, – ещё просишь за этого мерзавца! Он чуть не убил меня, а ты ещё просишь ему пощады! Нет, матушка, не князю Долгорукому унижаться перед этим побродягой! Пусть он будет хоть и шурин австрийского посла, а быть ему в Пелыме, и я от своего слова не отступлюсь!..

– Батюшка, прости его! – повторила княжна, схватывая руку отца и прижимая её к своим похолодевшим губам.

Алексей Григорьевич резко вырвал руку и воскликнул:

– Да ты никак с ума сошла, Катерина! Ты сначала себе-то выпроси прощение, чем распинаться за этого схизматика! Аль ты думаешь, что я за твои дела по головке погладить тебя должен?

– Батюшка, прости его! – повторила княжна всё ещё дрожащим, но как-то металлически звеневшим голосом.

Долгорукий побагровел и гневно топнул ногой.

– Дура! – заревел он. – Да что ты, смеёшься надо мной?! Аль ты не слыхала, что я тебе сказал?!

Молодая княжна медленно поднялась с колен и, отерев заплаканные глаза, повернулась и таким же медленным, неспешным шагом пошла по направлению к дому. Долгорукий сначала изумился, затем бросился вслед за нею и резко схватил её за руку:

– Ты куда?

Катя молча высвободила руку и пошла дальше.

– Куда ты? – заревел опять Алексей Григорьевич, догоняя дочь.

Катя приостановилась и взглянула на отца холодным, точно стальным взглядом, совершенно преобразившим её милое личико.

– Я иду домой! – спокойно, но каким-то глухим голосом ответила она.

– Так ты что же это, – заорал опять Алексей Григорьевич, – отца и слушать не хочешь?

– Мне нечего больше вас слушать, батюшка, – холодно отрезала Екатерина.

– То есть как это нечего? – опешил Долгорукий, не понимая, что происходит с дочерью.

– Очень просто... Мы обо всём уже переговорили. Вам не угодно исполнить моей просьбы, вам угодно насытить свою месть и преследовать Фридриха, – ну, а мне не угодно согласиться на то, о чём вы так страстно мечтаете...

Если бы в это мгновение с безоблачного, усеянного бесчисленными огоньками звёзд неба сверкнула молния, сопровождаемая громовым раскатом, Алексей Григорьевич не был бы так поражён, как этими немногими словами дочери, сказанными ею таким металлическим голосом и с такой энергией, каких он и не подозревал в ней.

В первую минуту он даже растерялся и подумал, что Катя сошла с ума, но потом прилив гневного волнения охватил его, и он чуть не с кулаками набросился на дочь.

– Да знаешь ли ты, – заорал он, – знаешь ли ты, что я за такие твои слова, за такие твои помыслы живой тебя в гроб вколочу! Как ты смеешь так разговаривать с отцом!.. Да нетто ты не понимаешь, что ты в моей воле и что я захочу, то с тобой и сделаю!.. Много воли дал я тебе, Катерина, да эту дурь я из тебя выбить сумею! Скажите на милость, какую она препону ставит!.. Ей не угодно! Да я сумею сделать так, чтобы тебе было угодно, искалечу, измором изведу... Аль ты думаешь, что я из-за одного твоего нехотенья разобью прахом все свои замыслы... Нет, Катерина, видно, ты меня не знаешь! Берегись доводить меня до гнева, а коли доведёшь – пеняй на себя!

Молодая княжна молча выслушала гневную тираду рассвирепевшего отца. Ни один мускул не дрогнул на её бледном лице, озарённом трепетным светом луны, и только глаза её, казалось, ещё больше

потемнели и ещё больше ушли в орбиты.

– Батюшка, – также холодно сказала она, – вы вольны в моей жизни и смерти – это правда, вы можете меня убить, но не заставите изменить данному слову. Говорю вам, и говорю совершенно серьёзно, что никогда не покорюсь, если вы в свою очередь не согласитесь на те условия, которые я предложу.

Алексей Григорьевич сделал резкое движение рукой, точно собираясь ударить дочь, но потом передумал, медленно опустил руку и голосом, полным насмешливой иронии, сказал:

– Ну-с, посмотрим, какие такие условия желаешь ты предложить мне? Сказывай.

Княжна провела рукой по лицу, словно отгоняя какую-то докучливую мысль, и заговорила:

– Прежде всего я требую...

– Требуешь! – насмешливо перебил Долгорукий.

– Да, именно требую, – повторила Катя, – требую, а не прошу, – чтобы вы даже и не думали преследовать Фридриха.

– Всё? – спросил Долгорукий.

– Нет, ещё не всё. Кроме того, я хочу, чтобы вы предоставили мне полную свободу и не шпионили так за мной, как шпионили до сих пор...

Алексей Григорьевич хотел что-то сказать, но задохнулся от гнева, и только какой-то хриплый звук вылетел из его горла. Минуту казалось, что его хватит удар, – так побагровело его лицо. Он быстрым движением разорвал ворот кружевного жабо и полной грудью глотнул несколько раз свежий воздух. Это облегчило его, и тогда он опять накинута на дочь.

– Да как ты смеешь, девчонка?! – хрипло крикнул он.

– Погодите, батюшка, – резко остановила его княжна, – вы, должно быть, плохо поняли мои слова. С вами говорит уже не робкая покорная девочка, какую я была до сих пор: сегодняшняя ночь переродила меня... Что бы вы ни делали со мною, как бы меня ни истязали, я никогда не пойду под венец против своей воли, и если вы даже насильно, связавши меня по рукам и ногам, потащите в церковь, так я убегу от престола

Божия! Не забывайте, что во мне течёт ваша кровь и что я княжна Долгорукая!..

И в её тоне было столько властной самоуверенности, что Алексей Григорьевич понял, что борьба с Катей невысказана и что если б он вздумал её начать, так победа останется на её стороне. И эти размышления разом утишили его гнев, разом изменили его обращение с дочерью, и он, улыбнувшись самой весёлой, самой приветливой улыбкой, промолвил, взяв её за руку:

– Ай да огонь девка! Не знал я, что ты, Катюша, такова. Ну, давай помиримся!

И он притянул к себе дочь и хотел её поцеловать, но Катя резко увернулась и прежним враждебным тоном спросила:

– Ну так что же, согласны вы, батюшка, на мои условия?

– Вполне согласен!

– И графу мстить не будете?

– Бог с ним! Так и быть, прощаю его для тебя! Ну а ты-то на попятный не вздумай?

– Нет. Делайте что хотите, – пробормотала она сразу упавшим голосом, повернулась и медленно направилась по тропинке к дому.

Глава X. ПОДВИГ АНТРОПЫЧА

Василий Матвеевич Барятинский был наверху блаженства. Свадьбу решили сыграть после Петровок, – и теперь, пока в доме Рудницких шли приготовления к свадьбе, пока дворовые портнихи, швеи и кружевницы заготавливали приданое – он чуть не каждый день бывал у Мясницких ворот, целыми часами просиживая с своей невестой в саду, любовно глядя в её ясные, как безоблачное небо, и такие же голубые, как прозрачная лазурь небесного свода, глаза и болтая обычный вздор, который только и идёт в голову влюблённым и которому только влюблённые и придают значение.

Хотя такие частые визиты после обручения были и не в московских обычаях, но старик, воспитанный на петровских нововведениях, не

препятствовал этим свиданиям молодых людей. И он и Елена Андреевна были счастливы счастьем своей дочери и радовались, глядя на молодую парочку, любовно шептавшуюся в уголке террасы, пока старики вместе с дядей Барятинского играли в карты или мирно беседовали о придворных делах.

А придворные дела, занимавшие всю московскую знать, немало интересовали и Рудницких, и старика Барятинского!

Слухи, носившиеся в последнее время, не предвещали ничего утешительного. Долгорукие усиливались всё более и более, и в придворных кругах почти с уверенностью стали поговаривать о предполагаемой женитьбе молодого царя на княжне Екатерине. Партия Елизаветы Петровны совершенно потеряла значение, потому что государь всё ещё продолжал гневаться на тётку. По крайней мере, принцесса Елизавета безвыездно жила в своём подмосковном имении и почти не появлялась во дворце. Алексей Григорьевич так овладел юным царём, что почти никого не допускал к нему, кроме своих клевретов, и старался удалять его от всех государственных дел, увозя его на самые дальние охоты и прогулки.

Дела государства находились в ведении верховного совета, из шести членов которого двое принадлежали к фамилии Долгоруких; Головкин почти умирал, Остерман почти ни во что не вмешивался, а остальные двое – Михаил Михайлович и Дмитрий Михайлович Голицыны – предпочитали держать руку Алексея Григорьевича. Не потому, понятно, что они сочувствовали его честолюбивым замыслам, не потому, что желали способствовать его возвышению, а просто потому, что им было не под силу бороться с Долгорукими, пустившими такие глубокие корни и при дворе, и в государственном управлении, что не Голицыным было под силу свергнуть их.

Но то, что занимало стариков, то, что волновало их, – мало трогало молодых людей. У них были свои интересы, свои мечты и надежды, и, занятые своим личным счастьем, Аня и молодой Барятинский как бы и позабыли, что политические интриги могут коснуться и их, что

придворное кружево может и их опутать своими тонкими, но крепкими нитями.

Они любили друг друга – и в этом для них заключался весь мир. Какое им было дело до возвышения Долгоруких, когда их сердца бились так согласно, словно вторя друг другу своими ударами.

И только иногда, невольно расслышав фамилию Долгорукого, часто упоминавшуюся в разговоре стариков, Василий Матвеевич нервно вздрагивал, вспоминая свои недавние тревоги и мучения, свою ревность к Алексею Михайловичу и свою дуэль с ним...

Но безоблачное счастье, которое теперь наполняло его, мало-помалу изгладило из его памяти эти тяжёлые воспоминания. Он забыл о Долгоруком и был вполне уверен, что и тот забыл о нём. Тем более что, иногда встречаясь во дворце или у общих знакомых, они не кланялись друг другу, обдавая один другого холодным, безразличным взглядом, каким смотрят на совершенно незнакомого, совершенно неинтересного человека... И Барятинский был убеждён, что Алексей Михайлович примирился с неизбежностью судьбы, простил своему недавнему противнику предпочтение, оказанное княжной Рудницкой, и утешился новыми победами, потому что с некоторого времени стали сильно поговаривать об его ухаживании за дочерью графа Апраксина, – ухаживании, которое, по всем вероятностям, должно окончиться свадьбой. Но Барятинский ошибался.

Долгорукий ничего не забыл, да и не хотел забыть. Его самолюбивый, злобный характер не мог примириться с удачей соперника. Правда, встречаясь с Василием Матвеевичем, Долгорукий окидывал его равнодушным взглядом, – но это было тогда, когда Барятинский смотрел на него. А вслед ему он бросал такие злобные, полные непримиримой ненависти взоры, что, оглянись Василий Матвеевич и поймай один из таких взоров, – он невольно бы испугался и не стал бы надеяться, что прошлое Алексеем Михайловичем так же забыто, как и им.

Нет, князь Долгорукий ничего не забыл.

Не забыл он и приказания, данного Антропычу, который всё ещё медлил

с его исполнением, – и ещё недавно, призвав его к себе, сказал:

– Ну что, старая крыса, долго ты тянуться будешь?

– Погоди, ваше сиятельство... Подходящего случая не выходило... – ответил старик.

– Так его, этого случая-то, может, и до второго пришествия не дождёшься... Уж я ждал-ждал, да и жданки-то потерял.

Антропыч развёл руками.

– Ничего не поделаешь, государь князь. Что касемо до меня, – у меня всё налажено. Как птичка в силоч, – тут ей и щелчок. Да и в силоч-то ещё не заманили...

– Да и вовек, может, не заманишь?! – сердито воскликнул Долгорукий.

– Зачем так, ваше сиятельство, говорить... Заманить – бесперечь заманим, – обидчиво возразил Антропыч. – Погодить только надоть.

– Смотри, старый дьявол! Догодишься ты их свадьбы. Петров день-то не за горами.

– Будьте без сумления, ваше сиятельство, – отозвался Антропыч. – Время не упустим. А что годить надо – так сами ж вы изволили так препоручить.

– Я?! Да ты с ума сошёл!

– Ну, вот ещё! Не ваш приказ, чтобы с опаской действовать... Коли бы без опаски да на белу свету – так хоть нонче прикончить можно. Только как бы потом шума не вышло...

– Нет-нет, шуму не надо, – торопливо промолвил Долгорукий.

– Ну, то-то и оно-то, – снисходительно улыбаясь сухими губами, заметил старик. – А сами горячиться изволите. Уж будьте спокойны. Что Антропыч сказал – так и будет. Изведём вашего врага. Только обождите малость, дайте мне его в ловушку заманить...

– Ну, ладно, старая карга, – после небольшого раздумья согласился Алексей Михайлович. – Но только попомни: коли они обвенчаются да ты время упустишь – не быть тебе живому: своими руками придушу...

И он так гневно сверкнул глазами, что Антропыч вздрогнул всем телом и кубарем выкатился из комнаты.

Старику не было никакого расчёта обманывать своего гневного господина. Прежде всего он хорошо знал его характер и потому был уверен, что Алексей Михайлович не задумается исполнить свою угрозу и без всякой жалости убьёт его, если он не сдержит слова. Кроме того, он рассчитывал ограбить Барятинского, попользоваться немалым, так как он уже пронюхал, что Василий Матвеевич носит с собою большие деньги. Откуда он получил эти сведения, – это была его тайна; но это в действительности было так. Барятинский в прежнее время, до знакомства с княжной Рудницкой, был страстным игроком, хотя и не был кутилой. И чтоб иметь при себе свободные деньги для игры, он носил сотни три золотых, зашитыми в пояс под мундиром. Играть он потом бросил, но пояс с золотой начинкой продолжал носить по какой-то странной привычке. Вот на этот-то пояс и рассчитывал Антропыч, как на лишнее вознаграждение за исполнение страшного дела, взятого им на себя по поручению Алексея Михайловича. И если до сих пор он ещё не покончил с Барятинским, так только потому, что преступление требовало чистой отделки, что нужно было спрятать все концы в воду, а для этого требовалось непременно заманить Василия Матвеевича в какое-нибудь глухое место, чего до сих пор сделать не удалось. Антропыч всё выжидал удобного случая и наконец-таки дождался.

В последнее время Василий Матвеевич почти нигде не бывал, проводя целые дни у своей невесты. Только очень изредка он навещал своих приятелей, Вельяминова и Сенявина, да и то предпочитал, чтоб они посещали его как можно чаще, не считаясь с ним визитами. Приятели сначала дулись на Барятинского, изменившего своим прежним привычкам и обычаям, но затем примирились с неизбежностью и чуть не каждое утро заявлялись к нему, чтобы поболтать о различных пустяках. Это вошло в такую привычку, что Барятинский страшно изумился, когда в один прекрасный день Вельяминов явился один.

– А где же Сенявин? – удивился Барятинский.

– Шут его знает! – отозвался Вельяминов. – Не пришёл ко мне нонче.

– А ты к нему не заходил?

– Нет. Да он, может, проспал... Придёт ещё.

Но Сенявин не пришёл. Не пришёл он и на другой день. Наконец на третий день Вельяминов явился к Барятинскому сильно встревоженный.

– А знаешь, Сенявин-то ведь пропал!.. – закричал он ещё с порога.

– Как пропал?!

– Да так. Зашёл я к нему нонче, а Васильич – его денщик – говорит, что он уж третью ночь дома не ночевал...

– Да куда же он делся?!

– А это неведомо...

Исчезновение Сенявина не только изумило, но и положительно испугало обоих приятелей. До сих пор не случалось ещё ни разу, чтоб он так внезапно пропадал из дома. Он не был ни большим кутилой, ни большим любителем любовных походов, и если и отлучался из дома, так только на охоту, да и то в сопровождении обоих своих друзей, без которых, как он сам говорил, и в охоте не будет удачи. Поэтому его таинственное отсутствие, совершенно ничем не объяснимое, навело Барятинского и Вельяминова на очень тревожные мысли. Случаи внезапных исчезновений происходили нередко в то время. Стоило только нажать сильного врага, и человек, осчастливленный такой враждой, исчезал бесследно, если в том встречалась необходимость. Но, насколько знали его друзья, у Сенявина не было никаких врагов, так как он был человеком незлобивым, ни с кем никогда не ссорился и располагал к себе даже самых чёрствых людей своим открытым характером и весёлой беспечностью нрава. Оставалось ещё предположить только одно, – что Сенявин попал в руки тёмного люда, дерзко разбойничавшего в Москве ночной порой. Хотя и это было подвержено большому сомнению, так как вольный люд редко нападал на офицеров, да и Сенявин отличался замечательной физической силой и не дался бы легко в обиду.

– Нужно будет его отыскать! – после небольшого раздумья сказал Барятинский. – Чай, не иголка, совсем запропасть не может.

– Да где же мы его искать-то будем? – спросил Вельяминов.

– А вот подождём денька два; коли не объявится сам, так и почнём по

Москве шарить.

– А в Сыскной приказ заявлять не хочешь?

– Заявить-то можно, да толк-то какой в том будет? Аль ты не знаешь, как у нас в сыском розыске делают? Коли деньги у тебя пропали, – ещё, может, отыщут, потому половину из них себе возьмут. Ну, а человека искать не станут. Нет, Мишук, мы уж лучше с тобой сами распорядимся.

И приятели покончили на этом разговор о пропавшем друге, решив переждать два дня, а затем приняться за его розыски.

Вельяминов посидел ещё немного и затем отправился в казармы, а Василий Матвеевич поехал к своей невесте.

Всё время, пока он сидел с нею, он почти не думал об исчезновении Сенявина, но стоило только ему проститься с молодой девушкой и отправиться домой, как тревожившие его утром мысли появились снова.

"И куда он мог только деваться? – думал Барятинский, медленно подёргивая вожжами и даже не замечая того, что лошадь, бежавшая лёгкой рысцой, постепенно перешла на шаг, – вот уж не чаял я такой напасти. Нешто и впрямь он только на охоту куда отправился? Да нет, быть того не может! – быстро возразил он сам себе, – без нас он допрежь шагу не делал, да и теперь не сделает. Нет, тут что-то не то! Должно, и впрямь попался Сашуха в разбойничьи руки. Только как же это они с таким молодцом управились..."

Подъехал он к дому, когда уже совсем стемнело. Ночь была тёмная, хотя и светила луна, но небо было закутано облаками, которые только изредка прорывались на том месте, где горел её бледный серп, и казалось, что не облака скользят мимо луны, а она сама несётся по небу, прорезывая своим острым серпом волнистую ткань туч.

Барятинский остановил свою лошадь у самых ворот, вылез из одноколки и нетерпеливо постучал кулаком в калитку. Его, очевидно, ждали, потому что за калиткой: тотчас же зашмыгали шаги, а через мгновение загремел засов, но калитка не успела распахнуться, как перед Василием Матвеевичем выросла чья-то сгорбленная фигурка, вынырнувшая из мрака, надвинувшегося со всех сторон и заполнившего собой всё

воздушное пространство. Это было так неожиданно, что Барятинский изумлённо отшатнулся и невольно схватился рукой за эфес своей сабли.

Невзрачная фигурка между тем подвинулась ещё ближе и, отвесив почтительный поклон, заговорила:

– Не обессудьте, ваше сиятельство, что в разговор с вами вступаю. Дело до вас есть, и большой важности дело.

– Что такое? Сказывай!

– Чай, ведомо вам, что господин поручик Сенявин изволил из дома отлучиться...

Василий Матвеевич, услышав фамилию Сенявина, положительно обрадовался этому таинственному вестнику, даже испугавшему его своим неожиданным появлением, и быстро спросил:

– Ты от Александра Ивановича? Где он? Куда он провалился?

– Так точно-с, от их милости, – подтвердил старичок. – Случилась с господином поручиком большая неприятность: изволили они в "вертушку" попасть, проигрались, и теперь их без того не отпускают, покелича свой долг не отдадут.

Смутное подозрение шевельнулось в душе Барятинского. Он знал, что Сенявин иногда любит перекинуться в картишки, но в то же время знал его за человека, неспособного увлечься игрой и тем более в "вертушке", как назывались прежде мелкие игорные притоны, кой-где ютившиеся по окраинам Москвы. Но в то же самое время тон старичка был очень искренен, и Барятинский подумал про себя:

"Может, и вправду Сашуха попал в обделку. Затянули малого какие-нибудь благоприятели да и бросили. У нашего брата такая повадка есть".

И он снова спросил старичка:

– А много должен-то он?

– Да порядочно. Червонных двадцать, а то и поболее. Очинно вас господин Сенявин просили из беды вызволить...

Барятинский подумал с минуту, затем крикнул конюху, в это время уже отворившему ворота и вводившему лошадь во двор, чтоб он не распрягал лошадь, и снова обратился к старичку:

– А далеко эта вертушка-то?

– Неблизко-с. Почитай за Сущёвым, близ Напрудного.

Василий Матвеевич не стал больше расспрашивать. Он опять уселся в таратайку и крикнул конюху:

– Скажи, Иван, дядюшке, чтоб он не дожидался меня ужинать... А пусть ко мне в опочивальню кусок холодной дичины поставят. Как вернусь, чтобы пожевать что было. Ну, старина, – сказал он, обращаясь к старичку, – влезай-ка сюда, да и поедем.

Старичок не заставил повторять предложение и торопливо влез в таратайку. Барятинский хлестнул лошадь вожжами, она подхватила крупную рысью и понесла таратайку в непроглядную тьму ночи...

Глава XI. В РАЗБОЙНИЧЬЕМ ГНЕЗДЕ

В тот самый вечер, когда Барятинский отправился выручать Сенявина из "вертушки", часа за три до этого, в знакомом нам домике в селе Напрудном собралась целая "кумпания". Здесь был и дядя Митяй, и Антропыч, и какой-то молодой парень с опухшим от пьянства лицом и всклокоченными волосами, целой шапкой окружавшими его большую котлообразную голову, и две бабы, одна помоложе, другая постарше, но обе достаточно непрезентабельного вида, растрёпанные, грязные и полупьяные.

В низенькой душной комнате, еле освещённой дымившей лучиной, было до того накурено махоркой, что клубы дыма облаками висели в воздухе. Курили все – и мужчины, и бабы, с каким-то остервенением затягиваясь крепчайшим дымом из коротенькой трубочки, то и дело переходившей из рук в руки. Но ещё чаще, чем трубка, в руках собеседников виднелись стаканчики с зеленоватым ерофеичем, целый штоф которого красовался на столе, среди нескольких луковых головок, кусков редьки и соли, грудкой насыпанной прямо на грязную доску стола. Штоф уже опустел наполовину; лица собеседников, и без того багровые от красноватого света лучины, ещё более побагровели; глаза посоловели и налились кровью, а языки развязались окончательно, и отрывочный дотоле говор

протратился в какой-то неясный гул, из которого вырывались только отдельные слова, произносимые какими-то вскриками.

Но это продолжалось недолго, и Антропыч, очевидно главенствовавший здесь, резко воскликнул:

– Ну, будет галдеть, черти! Надо теперь и о деле поговорить.

– Сказывай! – отозвался Митяй, слезая с лежанки, на которой сидел, и подходя ближе к Антропычу.

Антропыч, державший в руках трубку, затянулся, сплюнул, передал её Митяю и заговорил:

– Нонича, ребята, будем дело делать.

– Пора, заждались уж, – заметил парень.

– Ну вот и дождался. А то, видно, у тебя руки чешутся.

– Чешутся и есть.

– Ну и чеши их опосля, когда черёд придёт, – сердито буркнул Митяй, – да не мешай нам о деле говорить! Ну так сказывай, Антропыч, как ты его сиятельство-то залучить думаешь?

– А уж это моё дело. Предоставить вам предоставлю, а распоряжаться вы опосля будете. Только, чур, уговор лучше денег; без меня его не раздевать.

– А что, видно, круглячки есть?

– А уже это опять-таки моё дело!

– Да ты толком сказывай! – опять вступился парень. – Мы ведь тоже даром работать не намерены.

– Никто даром и не заставляет! Свою долю получите, а только без меня делёжки не начинать, – сам разделю.

– А когда ж ты его представишь? – спросил Митяй.

– А вот завечереет совсем, тогда и пойду.

Одна из баб помоложе вступила в разговор:

– А молодой князёк аль старый? – спросила она.

– Ишь! – загоготал парень. – Ишь, завидущая! Мало тебе нас, что ли?

– Ну да, очень вы нам нужны! – хриплым голосом отозвалась другая баба. – Ваше дело только водку лопать!

Митяй сердито стукнул кулаком по столу.

– Будет галманить-то, черти! Не дадут и о деле столкнуться! Так как же, Антропыч, здесь мы князька-то пристукнем аль в иное место сволочь его?

– А это как хочешь! Моё дело – словить. птичку в силок, а голову свёртывать вы ей будете. Ты мне его только убери, да так, чтоб им и не попахло...

– Уберём, для ча не убрать! Не впервой, не махонькие! – буркнул Митяй. Антропыч встал со скамьи, подошёл к окну и, спустив оконницу, запылённую и загрязнённую до того, что через неё почти совсем не пробивались лучи наружного света, выглянул на улицу.

– Одначе совсем уж стемнело, – сказал он. – Можно и в поход идти!

Он отошёл от окна, отыскал свою шапчонку, валявшуюся в углу на ворохе какой-то рухляди, нахлобучил на голову и направился к двери.

– Ну, я пошёл! – крикнул он с порога. – А вы, братцы, готовьтесь, примите гостя как след!

– Ладно! – откликнулся Митяй. – Охулки на руку не положим. А скоро ждать-то?

– Да так с час, а может, и поболее, как управлюсь.

И Антропыч скрылся за дверью. По его уходе в избёнке несколько минут царило мёртвое молчание. Митяй, как бы что-то обдумывая, сосредоточенно посасывал трубочку, окутывая себя облаками дыма и поминутно сплёвывая на пол. Молодой парень, переместившийся теперь к столу, медленно жевал корку хлеба, а бабы, не смея шелохнуться, поглядывали своими опухшими глазами на мужиков и дожидались, пока те нарушат молчание.

– А что, дядя Митяй, – заговорил вдруг парень, – и плут этот Антропыч!

– Шельма естественная! – согласился Митяй.

– Да будет тебе курить-то! Ишь, втюхался!

И парень почти насильно вырвал у Митяя трубку. Митяй молча поглядел на него каким-то бессмысленным взглядом и снова отвёл глаза в сторону. А парень затянулся несколько раз и снова заговорил:

- И надует нас Антропыч, как пить дать!
- Это почему же надует? – угрюмо спросил Митяй.
- А потому что бестия!

Глаза Митяя вдруг гневно сверкнули, и он так сильно ударил кулаком по столу, что луковицы запрыгали, соскочили и покатались по полу.

- А это что? – рявкнул он.

Парень загоготал.

– Много ты этим возьмёшь! Нет, брат, Антропыч – тонкая штука! Его кулаком не испугаешь! А по-моему, совсем не так поступать надоть.

- А как же? – ещё угрюмее спросил Митяй.

– А так, что следует Антропыча обмишулить.

– Да как же, чёртов кум? – внезапно разозлился Митяй. – Будет те мямлить-то! Говори толком.

– А очинно просто. Теперь, к примеру сказать, он нас обмишулить хочет, а мы его сами обмишулим. Без него, вишь, не дели! Стало, при господине князе деньга есть. Восчувствовал? – И он лукаво подмигнул Митяю глазом.

- Ну?! – буркнул тот.

– Вот тебе и ну.

– Да как же ты его обмишулишь? Стало, по-твоему, князя убивать не след?

- Почему не след! В лучшем виде уконтентуем!

– Так что же делать-то, дьявол?!

Парень насмешливо улыбнулся, налил себе стаканчик водки, залпом выпил его и тогда только повернулся опять к Митяю.

– А дело-то, дядя Митяй, очень просто. К примеру сказать, приведёт Иван Антропыч господина князя. Что нам делать надоть? Уговор исполнить... А там, к примеру сказать, можем мы и Ивана Антропыча к чертям сковороды лизать послать, а? Как, дядя Митяй, скажешь?

И парень опять подмигнул своему угрюмому собеседнику. Митяй даже привстал со скамьи – так поразило его неожиданное предложение сотоварища. По глазам его, загоревшимся злобным алчным огоньком,

было видно, что это предложение пришлось ему по душе и что он далеко не прочь избавиться от Антропыча, для того чтобы воспользоваться его частью.

– А ведь ты дьявол, Сенька! – воскликнул наконец он одобрительно.

Парень самодовольно усмехнулся и многозначительно спросил:

– Так идёт?

– Идёт! – согласился Митяй.

– Стало быть, Антропычу капут?

– Стало быть, так.

На этом разговор оборвался, и молчание воцарилось снова. Оба они, и Митяй, и этот парень, которого звали Сенькой Косарём, принадлежали к разряду самых отчаянных головорезов, ещё недавно промышлявших в волжских разбойничьих шайках и теперь основавшихся в Москве в надежде на хорошую поживу. Кормилица Волга-матушка уже не могла накормить так сытно, как прежде, напоить так пьяно, как в былые времена целые тысячи бродяжного люда, приютившегося на её живописных крутых берегах. Времена Стеньки Разина, казалось, минули безвозвратно. Могучая воля великого Петра заставила встряхнуться и ленивые поволжские города.

Обычные, освящённые веками порядки круто изменились. Особенно в последние годы своего царствования великий преобразователь с обычной энергией принялся за внутреннее благоустройство страны и первым делом обратил внимание на разбойничий промысел, процветавший на Волге. Отдан был строгий приказ по всем воеводствам "переловить разбойных людей со всем тщанием, понеже от неблюдения спокойствия многие неурядки проистекают и разорение мирным гражданам производится. Оный разбойничий люд, предварительно опросив с пристрастием, по заслугам смерти чрез ката предавать, кои же в убийстве не замечены – ссылатъ в сибирские пригороды в цепях на тяжёлые работы".

Этот приказ заставил воевод, особенно воевод поволжских, приняться за повсеместное искоренение разбойников, и многие сотни их сложили свои

буйные головы на площадях под острой секирой ката. Разбойничество встрепенулось, не стало действовать уже так открыто и забралось в дремучие дебри лесов, покинув кормилицу Волгу, где вместо прежних ленивых и неповоротливых стрельцов появились петровские солдаты, в формулярах которых значились победы над шведами.

Митяй и Сенька Косарь испытали все превратности разбойной жизни, побывали и под Астраханью, и на Каспии, жили и на Дону широком, промышляли и в орловских лесах, и всё им как-то не улыбалось счастье, всё им как-то не было удачи, и вот в поисках за счастьем и удачей они и пришли на Москву, рассчитывая, что здесь им не придётся так голодать и холодать, как голодали и холодали до сих пор. В Москве им посчастливилось действительно больше. Собрав вокруг себя несколько человек таких же головорезов, для которых пролить человеческую кровь было так же легко, как осушить чарку водки, Сенька и Митяй принялись обделывать свои делишки, старательно пряча концы в воду и стараясь не попасть в лапы Сысского приказа.

Отсутствие Антропыча продолжалось уже очень долго. Прошло почти два часа, а ни его, ни князя Барятинского ещё не было.

– Как бы нас старый хрыч не надул! – молвил Сенька, нетерпеливо расхаживая из угла в угол избёнки и прислушиваясь. Но его чуткое ухо не могло уловить ничего, кроме воя разбушевавшегося ветра, с жалобным визгом залетавшего в трубу.

– Ну, вряд ли надует, – отозвался Митяй.

– Ещё как надует-то!

– Да ему без нас не управиться.

– Известно, не управиться! – отозвалась Аниська. – Ишь, он какойдохлый! Коли князёк-то молодой, так он его так кокнет, что от Антропыча-то, пожалуй, мокренько останется!

– Ну ты, баба, – пренебрежительно крикнул Сенька, – чего не в своё дело встречаешь! Да и чего вы здесь путаетесь-то? Митяй, вели-ка им идти дрыхнуть!

Митяй бросил сумрачный взгляд в сторону баб и махнул рукой.

– Ступайте! – сказал он.

– Да мы ничего, Митрий Степаныч! – воскликнула баба постарше, – мы вам не помешаем. Нам только князька поглядеть хотца.

– Сказано, дрыхнуть ступай, – ну и иди! – сурово заметил Митяй. – Нечего околачиваться-то!

И он кинул на баб сердитый взгляд.

Аниська хотела было заговорить, но её сотоварка одёрнула её, и они торопливо ушли за печку. А через минуту оттуда послышался сдержанный шёпот и хихиканье.

Сенька подошёл к окну, спустил оконницу и высунул голову наружу. Резкий порыв ветра ворвался в окно и так колыхнул пламя лучины, что она чуть не потухла, а по полу бешено запрыгали тени, то вытягиваясь до потолка, то сжимаясь.

– Ничего не слышать, – сказал Сенька, отходя от окна.

– Погодь малость! – заметил Митяй. – Чай, сейчас и пожалуют.

– Здесь прикончим? – спросил Сенька.

– Зачем здесь – в роще прикончим...

В это время резкий собачий лай донёлся со двора.

– Антропыч! – крикнул Сенька и бросился опрометью в дверь.

Митяй тоже поднялся с лавки и в выжидательной позе встал у стола.

Прошло несколько минут. Дверь отворилась, и в горницу, в сопровождении Антропыча, вошёл князь Барятинский.

– Пожалуйте, ваше сиятельство, – говорил Антропыч, – вот здесь господин Сенявин пребывание иметь изволят. Пожалуйте, входите, да на порожке-то, глядите, не оступитесь!

Барятинский сделал ещё шаг и, с удивлением глядя на невзрачную обстановку, окружавшую его, и на зверское лицо Митяя, стоявшего у стола, как раз против него, торопливо спросил:

– А где же Сенявин? Что же я его здесь не вижу?

Но ответа ему не пришлось дожидаться. Подкравшийся сзади Сенька изо всех сил ударил его дубиной по голове, и Василий Матвеевич, даже не вскрикнув, как сноп, рухнул на пол.

Глава XII. В СЕТЯХ ЛЮБВИ

Но куда же девался Сенявин?

А дело было очень просто. С Александром Ивановичем Сенявиным случилась очень обыкновенная история, до которой, перебирая мотивы его исчезновения, никак не могли додуматься ни Барятинский, ни Вельяминов. Он любил.

Любовь пришла к молодому гвардейцу совершенно внезапно, налетев на его ещё не затронутое бурным дыханием страсти сердце, как налетает ветер на тихую, спокойную гладь сонного озера, мирно дремлющего в поросших ивняком и тальником берегах. И как ветер, пронёсшись, рябит воду и бросает её пенистыми волнами на береговой песок, – так и страсть, охватившая его, всколыхнула мирно дремавшее сердце Сенявина и заставила его биться с небывалою силой.

За месяц до своего внезапного исчезновения Александр Иванович, объезжая лошадь, заехал до Троекурова и уже хотел вернуться назад, когда случайно обратил внимание на то, что лошадь потеряла подкову на передней ноге. Приходилось сделать одно из двух: или поискать на селе какого-нибудь кузнеца, или отправиться пешком, ведя лошадь в поводу, но последнее совсем не улыбалось Сенявину, так как от продолжительной езды он чувствовал себя положительно разбитым и поэтому решил поискать какого-нибудь мужичка, который сможет подковать его аргамака.

Троекурово, расположенное на маленькой речонке Сетуни, было в то время незначительным посёлком, состоявшим из нескольких маленьких избёнок, разделённых друг от друга огородами и садами. Только с краю деревеньки стоял дом немного побольше и повиднее других, над раскрытыми дверями которого была прибита еловая ветвь, перевязанная кумачной лентой.

"Фартина, – подумал Сенявин. – Здесь, должно быть знают, где найти кузнеца".

Он подошёл к самому крыльцу, привязал лошадь у вбитого здесь столба

и вошёл в кабак.

На скрип двери из-за стойки, на которой в беспорядке были наставлены штофы и шкалики, поднялась молодая женщина в атласном сарафане, в тонкой шёлковой сорочке, плотно облегавшей пышную высокую грудь. Чёрные глаза её приветливо устремились на вошедшего офицера, а на пухлых коралловых губах её задрожала весёлая ласковая усмешка.

– Что прикажете, ваше сиятельство? – приветствовала она Сенявина, глядевшего на неё изумлённым, восторжённым взором.

Сенявин ответил не сразу. Он ещё раз окинул взглядом красавицу и сказал:

– У меня расковалась лошадь. Нет ли здесь на селе кузнеца?

– Как не быть, господин офицер, есть. Присядьте-ка, пожалуй, а я работника спосылаю.

И, приотворив дверь в соседнюю горницу, она крикнула:

– Вавила! Сходи-ка к Михайле Косому, скажи, что дело до него есть; пусть струмент захватит!

И потом, повернувшись снова к Сенявину, она ласково спросила:

– А что, господин офицер, может, винца не погнушаетесь выпить? У нас и ренское водится.

Сенявин всё время не спускал с неё глаз. Он всё больше и больше удивлялся тому, что в этой грязной фартине ему пришлось натолкнуться на такую пышную красавицу, и он невольно любовался и её роскошным станом, и длинною русою косой, ниспадавшею чуть не до пят, и большими миндалевидными глазами, тёмными, как осенняя ночь, и глубокими, как небо осенней ночью.

– Так что же, ваше сиятельство, – повторила свой вопрос целовальница, – прикажете нацедить чарочку?

Александр Иванович так был очарован красотой молодой женщины, что, предложи она выпить ему яду, а не только вина, – он бы, пожалуй, согласился и на это предложение. Но ему предлагали вина, и он весело ответил:

– Отчего не выпить! С большим удовольствием выпью за твоё здоровье,

красавица!

Молодая женщина достала бутылку со старым ренским вином, хранившуюся, очевидно, для почётных посетителей кабачка, и, наполнив янтарной влагой стакан, с низким поклоном подала его Сенявину, говоря:

– Кушайте, господин офицер, лучше за своё здоровье: мы такой чести не стоим!..

– Ну, это ты шутишь, красотка! Такой красоте, как твоя, можно удивляться и следует всегда отдавать честь!

Молодая женщина вспыхнула и, смущённо перебирая концы своего фартука, рассмеялась:

– Ох уж вы, господин офицер! Полно вам над бедной вдовой насмешки строить.

– Да разве ты вдова?

– Вдова, ваше сиятельство, вдовушка сиротливая.

– А давно ль ты овдовела?

– Да вот к Покрову два года минет.

– Что ж ты мужа-то любила аль нет?

Целовальница печально вздохнула и ответила:

– Как не любить – любила. На то он и муж, чтоб его любить да жаловать. Эх, сударь, ваше сиятельство! Такова, видно, уж наша доля бабья! За отцом да за матерью живучи, больше горя, чем радости, насмотришься. А там замуж выдадут, попадётся муж старый да неласковый, будет плетью жаловать да чертогонами ласкать. И свету Божьего не взвидишь!

И она опять печально вздохнула, метнув на Сенявина лучистый взгляд.

– Нас как замуж-то выдают, – продолжала она через минуту, – нешто спрашивают: люб аль не люб. Пришла пора, стукнет шестнадцать лет, просватают батька с маткой какого ни на есть мужика побогаче, хоть будь он из уродов урод, да и окрутят. А как расплетут косу девичью да наденут повойник, – спорить не станешь. Ну и майся целую жизнь. Вот и я помаялась, да хорошо хоть недолго. Прибрал Господь, по моим молитвам, муженька; опился невзначай дешёвым-то винищем, – ну вот я

и гуляю. Да не всем такая радость на роду написана. Ох, горька наша бабья доля, горька, господин офицер!..

Дверь скрипнула, и разговор поневоле оборвался, хотя Сенявин с большой бы охотой стал его поддерживать.

Вошёл кузнец Михайло, низенький, невзрачный, рыжеватый мужичонка, и, низко кланяясь Сенявину, сказал:

– Готова, батюшка, ваша лошадка-то; извольте посмотреть: на совесть подковал. Хоть до Питера теперь скачи, и подковывать больше не надо.

– Ну, спасибо тебе! – отозвался Сенявин и, достав из кармана рублёвик, бросил ему, говоря: – Вот тебе за работу...

Кузнец, обрадованный такой щедрой подачкой, даже растерялся, а Сенявин встал с места.

– Ну, прощай, хозяйшук! – сказал он. – Спасибо за привет да за ласку!

– Не на чем, ваше сиятельство! – отозвалась целовальница. – Благодарим и вас, что нашим домишком не побрезговали. Коли вдругорядь сюда завернёте, милости просим, не обессудьте!

– Заверну, заверну. Да как тебя звать-то, красавица? – вдруг спохватился Сенявин.

– Ольгой.

– А по отечеству?

– Отца-то Тихоном кликали; стало, Тихоновна.

– Ну так прощай, Ольга Тихоновна!

И Сенявин, бросив прощальный взгляд на улыбающуюся ему молодую женщину, быстро вышел из фартины. Никому из своих приятелей не сказал он ни слова о своём посещении Троекурова. Точно сразу забыл об этом, но не забыл он в действительности ни красавицы Ольги, ни кратковременного разговора с ней. Напротив, всё чаще и чаще вспоминались ему и её статная фигура, и ласковая усмешка, дрожавшая на её полных губах; всё чаще и чаще слышался её мелодичный ласковый голос, и Александр Иванович чувствовал, что он не в силах более противиться влечению сердца, настойчиво желавшего, чтоб он снова побывал в Троекурове и снова заглянул в лучистые глаза красивой

хозяйки невзрачного кабачка. Сначала он попробовал бороться с этим влечением, попробовал не послушаться настойчивого голоса сердца, стал доказывать себе, что не только глупо, но просто даже непростительно влюбиться в простую кабатчицу, будь она раскрасавицей даже.

"И чего это я только глуплю? – думал Сенявин. – Ишь, подумаешь, какую цацу нашёл. Коли кто узнает о такой срамоте, так прямо засмеют. Ишь, скажут, поручик гвардии Преображенского полка – и в деревенскую целовальницу влюбился! Тут за него первый вельможа дочку не постыдится отдать, а он на-ка какую штуку выкинул! Ну нет, дудки! До такой шалости себя не допущу! Хоть и хороша баба, а всё же чёрт с ней! И думать-то о ней больше не хочу!"

Но, однако, ему не удалось перестать о ней думать. С каждым днём он всё более убеждался, что его благое намерение "выкинуть из головы эту дурь" – неисполнимо, что назойливые грёзы об Ольге Тихоновне всё сильнее охватывают его порой, и чем меньше старается он о ней думать, тем с большею силой возвращаются к ней его неугомонные мысли, тем более места занимает она в его голове.

Наконец его до того охватила скука, что он уже не мог более противиться желанию отправиться в Троекурово, чтобы хоть одним глазком взглянуть на очаровавшую его красавицу. И это желание было так сильно, что он даже и не пробовал образумить себя.

И вот снова застучали подковы его лошади по выбоинам и рытвинам Дорогомиловской дороги, снова засеребрилась перед ним Сетунь, снова увидел он разбросанные, покосившиеся избёнки троекуровских крестьян и новый домик с зелёной ёлкой над дверью. Красавица приняла его так же ласково, даже более ласково, чем в первый раз. Пухлые щёки её зарделись таким ярким румянцем, в глазах засверкал такой весёлый огонёк, такая радостная улыбка скользнула по губам, что Сенявин сразу понял, что он здесь желанный гость.

– Здравствуй, Ольга Тихоновна! – обратился он к ней, войдя в горницу. – Вот видишь, я и опять приехал. Рада аль нет – сказывай!

– Уж так-то рада, государь, что и сказать невозможно! Не один разок я о

вашей милости вспоминала. Садитесь да сказывайте, чем угощать вас?

– Да ничем. Посижу вот так немного, погутарю с тобой да и оборочу назад.

– Нет, что вы, сударь! Это у нас так не водится. Без хлеба-соли грешно гостей отпускать.

Сенявин уселся, а Ольга суетливо принялась собирать в соседней горнице на стол и чрез несколько минут обратилась к молодому офицеру:

– Пожалуйста, господин офицер, чего по вкусу отведать. Здесь не так удобно, а вот тут в горенке повольготнее.

Сенявин сначала хотел было наотрез отказаться, отговорившись недосугом, но одного взгляда, брошенного на красавицу хозяйку, было совершенно достаточно, чтоб он утратил последние остатки воли и совершенно подчинился голосу сердца, бившегося теперь с удвоенной быстротой и заставлявшего сильнее обращаться кровь в его жилах.

И он послушно отправился вслед за Ольгой в смежную горницу и, словно в каком-то тумане, не спуская с неё очарованных глаз, уселся на скамью рядом с нею.

Уехал Сенявин из Троекурова ещё более влюблённый, чем приехал туда, и всю ночь не мог заснуть, беспокойно ворочаясь с боку на бок и тщетно стараясь закрыть глаза и отогнать неотвязчивые грёзы, шумевшие в его голове и с поразительной ясностью восстанавливавшие в воображении каждый жест красавицы, каждую её улыбку... А стоило ему смежить веки, и перед его духовным взором вставала вся её фигура, пышная, статная, красивая, точно маня его к себе и заставляя сильнее кипеть и без того разгорячённую кровь...

И с этого дня Александр Иванович зачастил в Троекурово. Но свои поездки он обставлял такою таинственностью, что ни Барятинский, ни Вельяминов и не догадывались об его частых отлучках из Москвы.

О них знал только один Антропыч, уже давно следивший за обоими друзьями Барятинского просто потому, что он рассчитывал воспользоваться возможным удалением кого-нибудь из друзей, чтобы заманить намеченную жертву в западню.

Узнав об этих поездках Александра Ивановича, старый бродяга проследил его до самого Троекурова, зашёл в кабак, у крыльца которого была привязана лошадь молодого офицера, увидел красавицу хозяйку и подумал:

"А молодчик-то не дурак! Важную бабу облюбовал. Ну, да мне это на руку. С этой любвишкой-то он, гляди, и закружится, да мне приманкой и послужит. Не всё будет на часок-то, чай, ездить. А тогда мы дело живо обварганим!"

И Антропыч не ошибся. Сенявин действительно не мог удовольствоваться кратковременными свиданиями с Ольгой, не мог удовлетвориться только взглядами, которые он кидал на неё. Кровь кипела всё сильнее и сильнее, страсть положительно туманила голову.

– Знаешь, Ольга, – сказал он ей раз, – отчего ты не хочешь приезжать ко мне в Москву?

Молодая женщина зарделась стыдливым румянцем и отмахнулась рукой.

– Нет уж, господин офицер, это к чему же!..

– Да нет, ты мне скажи, почему ты не хочешь?

– Невозможное это, сударь, дело, да и вам не след меня на Москву в гости звать. Какая уж я гостья! Мы люди простые, куда нам, мужичью неумытому, в барские хоромы лезть!

Сенявин сердито пожал плечами.

– Ну что ты глупости говорила! Какая же ты мужичка...

Ольга рассмеялась.

– Эх, господин офицер, известно, не боярыня! Да ну, что об этом говорить! Уж как хотите, сердитесь – не сердитесь, а к вам в гости я не поеду. Ко мне милости просим, когда угодно, всегда вам рада!..

И она обдала его своим огненным взглядом. Сенявин схватил её за руки и притянул к себе.

– Глупая! – воскликнул он, – да нешто ты не понимаешь, что мало мне этих встреч с тобою здесь, на виду у всех. Тут тебя и поцеловать-то толком нельзя: вся деревня загалдит.

– А на что ж вам меня целовать? – с лукавой усмешкой спросила Ольга.

– Да ведь люблю я тебя!

– Да неужто полюбили? – опять рассмеялась она.

– А ты и не видишь! – зашептал Александр Иванович. – Ведь ты совсем очаровала меня, сердце моё полонила!..

Молодая женщина рванулась было от него, но потом взглянула долгим пристальным взглядом, смущённо улыбнулась и сама, прижавшись к нему всем телом, шепнула:

– Ведь и я полюбила тебя, да и как ещё полюбила!..

И она приблизила к Сенявину своё пылавшее лицо и они слились в долгим, беззвучном поцелуе.

– Слушай, Александр Иванович, – сказала она потом, – правда, здесь больно людно. Хочешь, найдём такое местечко, где нас никто не отыщет? Хочешь?

– Конечно, хочу!

– Ну так ладно. Приезжай сюда денька два к вечерку, и поедем мы с тобой на мельницу, недалеко отсюда, близ Алексеевского. Приедешь, что ли?

– Понятно, приеду!

– Ну и хорошо. А теперь прощай, да смотри не забывай уж меня очень-то скоро!..

Через два дня после этого лихая тройка промчалась из Троекурова к Алексеевскому, и в этой тройке сидели Сенявин и Ольга.

Антропыч об этом узнал только на другой день.

Разведав, что Сенявин не ночевал дома, он отправился в Троекурово, но в кабаке, вместо красавицы хозяйки, за прилавком торчала заспанная, неуклюжая фигура работника Вавилы.

Антропыч залпом выпил стаканчик живительной влаги, крякнул, сплюнул, утёрся рукавом и вступил с Вавилой в разговор:

– А где же хозяйка-то?

– Нетути.

– А куда ж она подевалась?

– На богомолье в Косино уехала.

– Тэк. Хорошее дело! – заметил Антропыч, а сам подумал:

"Знаю я это богомолье-то! Небось с господином офицером где ни на есть в потайном месте милуются. Ну да это нам на руку. Теперь мы их сиятельство живо обрабатываем..."

И действительно, благодаря внезапной отлучке Сенявина старому разбойнику удалось залучить Барятинского в домишко дяди Митяя.

Глава XIII. В ТРЕВОГЕ

Тревожную ночь пережил старый князь Барятинский. Когда слуга Василия Матвеевича сообщил ему, что молодой князь было вернулся, а потом уехал куда-то с каким-то стариком, – смутное подозрение шевельнулось в душе Ивана Фёдоровича.

Ему почему-то показалось, что этот таинственный отъезд что-то скрывает за собою, а когда, часу в первом уж ночи, он узнал, что племянник ещё не возвращался, – его подозрения приняли новую, очень тревожную окраску.

"Тут что-то неладно, – подумал старый князь, – некуда ему ехать-то было. К Вельяминову нешто – так он нонче был... Может, Сенявин нашёлся? – вспомнил он затем, так как знал об исчезновении Александра Ивановича. – Так ночью-то чего же ехать. Чай, завтра день будет. Да коли поехал к нему – пора и назад вернуться. И в прежнее время Васенька засиживаться не любил, а теперь и подавно... Нет, тут что-то не так".

Эти мысли не давали покоя старику. Тщетно он старался заснуть, напрасно насильно закрывал веки, – сон, как нарочно, бежал от него, а неугомонные тревожные мысли вихрем, сменяя одна другую, проносились в его голове. Особенно пугало его то, что племянник не сказал, куда он отправляется. Обыкновенно всегда, когда Василий Матвеевич уезжал куда-нибудь вечером, – он сообщал старику, куда едет и когда вернётся. И такая таинственная, внезапная поездка случилась положительно в первый раз.

Пугало Ивана Фёдоровича и то, что Долгорукий, страшно злобивый и

мстительный человек, до сих пор ничем не проявил своей мстительности. А тому, что он мог забыть свою злобу, примириться с тем поражением, какое понёс в деле ухаживания за княжной Рудницкой, – князь Иван Фёдорович и верить не хотел. Слишком он хорошо знал Алексея Михайловича и теперь боялся, чтоб исчезновение племянника не было следствием его злобных замыслов.

"Он на всякую пакость способен. И из-за угла подстрелить может, – думал старик. – Ну, да если такое дело грехом случится, коль изведёт он моего Васеньку, – ему несдобровать. Правды на него не сыщешь, потому в силе они, проклятые, – ну, так я с ним своим судом расправлюсь, своими руками задушу его. Пусть потом хоть казнят, пусть хоть в Пелым аль Берёзов ссылают. Мне терять нечего, я уж стар, и всё равно вскорости с жизнью прощаться надо".

Иван Фёдорович заснул только под утро. Но сон его был очень тяжёл. Мрачные думы, не дававшие ему покоя, теперь во сне принимали реальные образы, и он несколько раз просыпался, испуганный сновидениями, в которых его племянник представлялся ему уже убитым, плавающим в крови... Проснулся он очень рано и, ещё не одеваясь, крикнул своего старого слугу Емельяна.

– Ну что, приехал молодой князь? – спросил он, когда старик вошёл в горницу.

Емельян грустно покачал головой.

– Нет, не приезжали.

– Что ж это значит, Емельянушка? – встревожено спросил старый князь.

– И ума не приложу, ваше сиятельство! Нешто, может, только у господина Вельяминова заночевали.

– А ты к нему не посылал? – ободрённый внезапной надеждой, быстро спросил Иван Фёдорович.

– Нет, ваше сиятельство, не сдогадался.

– Ну так пошли, пошли скорее! – заторопился старый Барятинский, – может, и взаправду он там.

Но посланный вернулся с печальным ответом, что "Василий Матвеевич у

господина Вельяминова вчерась не были и у них ночевать не изволили".

А через несколько минут явился и сам Вельяминов и воскликнул:

– Как? Что такое? Вася не ночевал дома?

– Да, не ночевал, – грустно ответил старый князь.

– Да куда ж он девался?

– А это Бог ведает! Вчера ввечеру его у ворот какой-то побродяжка остановил. Он с ними куда-то и уехал. А что он ему сказал, – неведомо! И вот с той поры его и нет. А Сенявин не возвратился? – вдруг спросил старик.

– Нет. Я нарочно к нему заезжал. Ни слуху ни духу.

– Что же нам теперь делать?

– Отыскивать надо.

– Да где же искать-то?

– Где-нибудь найдём.

Но, несмотря на такой ответ, Вельяминов в душе смутно опасался, что поиски Барятинского, как и розыски Сенявина, не приведут к желанным результатам. В исчезновении того и другого было слишком много какой-то таинственности, чувствовалась какая-то общая связь, и Вельяминов был почти уверен, что здесь замешана какая-то сильная рука, влияние человека, который, без сомнения, постарался скрыть все следы, и, наверное, не удастся ничего сделать для раскрытия этого таинственного дела.

Что Долгорукие замешаны в этом, Вельяминов почти не сомневался. Если он не понимал их участия в исчезновении Сенявина, то внезапное исчезновение Василия Матвеевича всецело приписывал им.

– Знаете, Иван Фёдорович, – сказал он после небольшого размышления, – что нам нужно сделать?

– А что?

– Нужно поехать к князю Долгорукому и спросить его, не знает ли он чего-нибудь о Васе.

– Да, правда, правда! – быстро подтвердил старый князь, – и мне это приходило в голову. Так ты тоже думаешь, Мишенька, что здесь не

обошлось без Долгорукого?

– Надо так полагать. Больно уж он злобный парень...

– Так это мы, пожалуй, Васеньки-то и не найдём. Укокошил он его, бестия!..

– А вот вы поезжайте к нему, Иван Фёдорович, да и узнайте, коли что и впрямь он над ним сделал, так мы ему этого даром не спустим!

– И поеду, непременно поеду; только вот что, – спохватился старик, – нужно будет к Рудницким сначала заехать. Может, он к ним завернул.

– В такую рань-то! – воскликнул Вельяминов.

– Что ж за рань! Уж десять часов било. Для влюблённых, знаешь, указанных часов нет.

– Поезжайте, – согласился Вельяминов, – а я пока в казармы отправлюсь, может, что там узнаю.

Старый Барятинский застал Рудницких за чайным столом. Его встретили, по обыкновению, очень радостно, но сумрачный вид старика обратил на себя внимание и тотчас же вызвал тревожные расспросы.

– Что это с вами, Иван Фёдорович! – воскликнула княжна Анна. – Какая-нибудь неприятность, должно быть, случилась?

– Да-да, в самом деле, сват, – подхватил и сам Рудницкий, – что это ты как будто не в себе? Сказывай, что за напасть приключилась?

Иван Фёдорович растерянно обвёл глазами вокруг себя. Присутствие молодой княжны заставляло его быть сдержанным, а между тем накопились слёзы, голос дрожал и он с трудом выговорил:

– Да так, нездоровится мне что-то; стар становлюсь, вот хворость и нападает.

Но когда отпили чай, он увёл Василия Семёновича в кабинет и дрожащим голосом, в котором слышались слёзы, сказал ему:

– Горе случилось, сватушка, горе!

– Что такое? – испугался Рудницкий.

– А такое горе, что Васенька пропал.

– Да что ты, сват, быть не может!!

– Правду говорю. Уехал куда-то ввечеру, да и посейчас дома нет, да и

нигде его нет; и думается мне, что не попусту он пропал, а что-нибудь с ним скверное приключилось. По всей видимости, это всё долгоруковские штуки!

– Да что ты!

– Верно тебе говорю. Большую он злобу на Васеньку питает. Должно, заманил куда да там и прикончил. – И старик смахнул дрожащей рукой набежавшую на глаза слезу. Рудницкий тоже молчал, подавленный страшным известием.

– Что ж ты теперь думаешь делать, сват? – спросил наконец он.

– Да вот спервоначалу думаю поехать к сему злодею да к ответу его потребовать. По лицу его подлому увижу, виновен он в сём али нет? И коли виновен, моя расправа с ним коротка будет!

– Ох, сватушка, – боязливо заметил Рудницкий, – с осторожкой говори с ним, потому больно большую силу Долгорукие взяли. Сказывают, не сегодня-завтра княжну Катерину царской невестой объявят. Будь поопасливей.

– Эх, сват, мне бояться нечего! – возразил Иван Фёдорович, – всё равно умирать пора, от смерти не уйдёшь. "Не вемы, в он же час придёт". А коли Васенька умер да Долгорукий его извёл, ни на что не погляжу! Не для кого мне жить тогда, он у меня один был...

– А я, чай, сватушка, Анюте ничего говорить не надо. Что её, бедную, заранее тревожить!

– Понятно, не говори. Может, и впрямь Васенька вернётся, а коли не вернётся – Божья воля! Тогда там видно будет. А пока прощай!

– Прощай, сватушка.

И старики обнялись, едва сдерживая накопившие слёзы.

Иван Фёдорович, прежде чем отправиться к Долгорукому, заехал домой. Ему маячила слабая надежда, что все его опасения напрасны и что Васенька самым мирным образом спит в своей опочивальне.

Но стоило старому князю только взглянуть на хмурое лицо встретившего его Вельяминова, стоило только увидеть поджидавшего его Емельяна, чтоб убедиться, что надежды его обманули, что действительность

остаётся действительностью, – и старик печально понурил свою седую голову.

– Был в казармах? – спросил он Вельяминова.

– Был. Всех спрашивал, – никто ничего не знает. Как в воду канул.

– Стало, надо к Долгорукому ехать.

– Поезжай, Иван Фёдорович, только вряд ли толк будет! – печально отозвался Вельяминов.

– Это почему же!

– А потому – отопрётся, бестия!

– У меня не отопрётся! – грозно сжимая кулаки, воскликнул Барятинский.

– Может, мне с вами поехать?

– Нет, к чему! Я и один с ним управлюсь!

И Иван Фёдорович уехал.

Когда Алексею Михайловичу доложили о приезде старого князя Барятинского, он положительно удивился этому неожиданному визиту. Барятинские и Долгорукие, несмотря на то, что их связывала общенитью придворная жизнь, не только не поддерживали частного знакомства, но даже сторонились друг друга. Ни один из Долгоруких не бывал у Барятинских, и никто из Барятинских никогда не заглядывал к Долгоруким. И поэтому появление Ивана Фёдоровича Барятинского, слывшего притом вообще домоседом, даже редко появлявшегося в дворцовых покоях, не могло не поразить Алексея Михайловича, особенно когда слуга доложил ему, что гость желает видеть именно его.

– Да ты, может, ослышался? – спросил он. – Может, он к отцу приехал?

– Что вы, ваше сиятельство! – возразил слуга, – очинно хорошо расслышал. Они так и сказали, доложить-де молодому князю, что мне их видеть надобно.

Алексей Михайлович не знал ещё об исчезновении Барятинского, а потому не мог предвидеть, что визит Ивана Фёдоровича связан с этим исчезновением. Он удивлённо пожал плечами и сказал слуге:

– Ну, что же, проси его; скажи, что жду.

Иван Фёдорович вошёл твёрдым шагом, немного более бледный, чем обыкновенно, и, только кивнув Алексею Михайловичу, но не подавая ему руки, проговорил:

– Вас, конечно, должно удивить, государь мой, что я к вам в гости пожаловал. Пожалуй, вы ещё возгордитесь, – насмешливо продолжал он, – вишь-де, до чего мы силу большую взяли, что к нам и князя Бярятинские на поклон стали ездить... Не на поклон я к тебе приехал и не дожждаться вам поклонов от Бярятинских, а есть у меня дело.

Долгорукий был страшно смущён таким вступлением, но всё-таки вежливо ответил:

– Что бы ни привело вас, князь, – я весьма рад вашему посещению.

И он, придвинув кресло к Бярятинскому, уселся сам, дожидаясь, что скажет его гость.

"Ну, навряд ты очень-то обрадуешься!" – подумал Иван Фёдорович, садясь в свою очередь.

– Вот видите, в чём дело, сударь мой, – сказал он вслух, – приехал я узнать, не видали ль вы ненароком вчерашний день племянника моего, князя Василия?

Долгорукий чуть-чуть изменился в лице.

– Нет, ваше сиятельство, не видал. Он ко мне не заходит. Насколько и вам ведомо, мы с ним не в большой дружбе.

– Знаю! – сухо отрезал Иван Фёдорович, – потому и спрашиваю. – И, впившись пристальным взглядом в лицо Алексея Михайловича, он медленно, отчеканивая каждое слово, сказал: – Пропал, сударь мой, Василий Матвеевич, пропал! И думаю я, что в той пропаже вы сведомы.

Долгорукий вздрогнул всем телом и быстро вскочил с места.

Он тотчас же понял, что Антропыч сдержал своё обещание. Вчера старик намекнул ему, что теперь дело на мази и что он может быть спокоен за участь своего врага. Но Алексей Михайлович не придавал этому намёку большого значения, потому что почти то же самое Антропыч повторял уже несколько дней. И только теперь он уверовал в правдивость его слов.

Он вспомнил, что Антропыч сказал ему вчера с достаточно таинственным видом:

– Ну-с, ваше сиятельство, пришло и наше время.

– Что ты ещё мелешь, дура? – оборвал его Долгорукий.

– Ничего не мелю, дело говорю. Попадётся наш князёк, как кур во щи! Такую фортеляцию я ему ноне подведу, что он сам в капкан полезет!

– Всё-то ты врёшь! Уж ты мне это который раз говоришь.

– Ничего не вру. Будьте спокойны, своё дело знаем. Вот где у нас их сиятельство сидит.

И он показал сжатый кулак.

Всё это сейчас припомнилось Алексею Михайловичу, и его охватила такая неудержимая радость при мысли, что его враг погиб, что он едва удержался от торжествующего восклицания. И только злая, насмешливая улыбка искривила его бледные губы, да глаза блеснули злым, нехорошим огоньком.

Старик Барятинский пристально следил за переменами его лица. Он подметил и внезапную бледность Долгорукого при его последних словах, заметил, как он вздрогнул, поймал и эту улыбку, которая яснее всяких слов говорила, что он не ошибся, что Долгорукий действительно виновен в исчезновении его племянника. И с внезапно вспыхнувшим взором старый князь быстро поднялся с своего кресла и воскликнул:

– Ну, что же, сударь, я ведь ответа жду! Сказывайте, куда вы задевали Васю?

Алексей Михайлович насмешливо улыбнулся и развёл руками.

– Извините, князь, я вас понять не умею! Сказываю вам, что мы с вашим племянником давно уж знакомства не водим. И клянусь вам Богом, я его вчера и в глаза не видал!

Вся кровь бросилась в голову Ивана Фёдоровича.

– Врёшь, злодей! – загремел он. – Ты его убил, ты!!

– Опомнитесь, ваше сиятельство, вы с ума сошли! – хладнокровно отозвался Долгорукий.

Это хладнокровие окончательно взорвало Барятинского. У него уж не

оставалось никаких сомнений, что стоящий перед ним с таким вызывающим насмешливым видом человек действительно убил его несчастного племянника, и, охваченный дикою жадой мести, он набросился на него и схватил его за горло, крича:

– Ты его убил, ты!! Кровь его на тебе! Ну, да я не дам тебе торжествовать! Умирай, собака, собачьей смертью!! – И он всё сильнее сжимал горло Алексея Михайловича своими костлявыми пальцами.

Его нападение было так неожиданно, что Долгорукий в первую минуту совершенно растерялся, но затем он собрался с силой, вырвался из рук душившего его старика и оттолкнул его от себя.

Иван Фёдорович взмахнул бессильно руками, глухо вскрикнул и замертво грянулся на пол. Возбуждение его было так сильно, что в ту минуту, когда Долгорукий оттолкнул его от себя, он лишился чувств и не мог удержаться на ногах.

Часть вторая

ИГРА СУДЬБЫ

Глава I. В ВИХРЕ СОБЫТИЙ

Прошло около двух месяцев.

Сенявин, конечно, нашёлся и был страшно поражён исчезновением Барятинского, которого ни он, ни Вельяминов, ни московская полиция не могли найти, несмотря на самые тщательные розыски. Не могли найти даже его тела, чтобы похоронить его с честью. Он исчез без следа, словно в воду канул.

Старый князь Барятинский лежал при смерти. Никто не мог узнать об его беседе с Алексеем Михайловичем Долгоруким, потому что старика разбил паралич, и не было никакой надежды на его выздоровление. Сам Долгорукий, понятно, и заикаться не смел об этом разговоре, чуть не стоившем ему жизни и так печально кончившемся для Ивана Фёдоровича. Тем более что он подозревал, что не один старик Барятинский считает его убийцей Василия Матвеевича, но что и Вельяминов и Сенявин держатся о нём такого же мнения. Он прекрасно видел это по тем

презрительным взглядам, которые они бросают на него при встрече, и опасался мести с их стороны.

Но не о мести помышляли друзья несчастного Барятинского. Не до мести им было в то время, когда Иван Фёдорович стоял одной ногой в могиле, а княжна Анна, невеста Василия Матвеевича, таяла не по дням, а по часам! Когда ей сказали наконец, что Барятинский пропал, она воскликнула, побледнев как полотно и готовая упасть в обморок:

– Это его Долгорукий убил!

В обморок она не упала, даже не заплакала, а как-то окаменела сразу, точно ушла в себя, словно мир потерял для неё весь интерес, словно жизнь, которая ещё так недавно улыбалась ей, стала её тяготить...

– Знаете, батюшка, – сказала она отцу, – если Вася не найдётся, я уйду в монастырь.

– Ну, вот глупости! – возразил старик Рудницкий. – И в монастырь ты не уйдёшь, и он найдётся...

Анна покачала головой.

– Нет, не найдётся... Чует моё сердце, что не видать мне больше радости.

И на все утешения родных, на все обещания Вельяминова и Сенявина отыскать пропавшего жениха она улыбалась бледной печальной улыбкой и так же качала головой. И только с каждым днём она становилась всё бледнее и бледнее, точно тяжёлая сердечная рана, нанесённая ей судьбою, точила по капле её кровь, которая словно испарялась и бесследно исчезала из её ещё недавно здорового и крепкого тела. Пропал румянец лица, поблели губы, глаза потеряли свой прежний блеск, ушли в орбиты и глядели оттуда точно из какой-то бездонной пропасти, – и все окружающие её с ужасом замечали, как подкашивает её здоровье какой-то тайный недуг, который в конце концов совершенно сломит молодую, едва успевшую расцвести жизнь.

Между тем события придворной жизни шли своим чередом. По-прежнему проживала вдали от дворца принцесса Елизавета Петровна; по-прежнему молодой царь веселился и охотился; по-прежнему усиливался Алексей Григорьевич Долгорукий.

Мысль о возвращении в Петербург была оставлена уже окончательно. По настоянию бабки царя, царицы Прасковьи, и под влиянием Алексея Григорьевича юный император окончательно убедился, что положение Москвы, как столицы, более благоприятно, что кругом Москвы гораздо больше лесов, в которых можно охотиться, что московский воздух для него гораздо полезнее и что – самое главное – в случае возможной войны с Швецией Москва не может подвергнуться нападению, которое неизбежно для Петербурга. Но не одно только перенесение столицы в Москву знаменовало возвращение к прежним допетровским порядкам. Многие, созданное Петром, подвергалось не только осмеянию, но и уничтожению. Так, решено было отменить рекрутский набор; торговля в Архангельске, запрещённая Петром, разрешена была вновь; казённые постройки в Азове приказано было приостановить; устройство петергофских фонтанов было брошено; даже староверам, которых преследовал гениальный преобразователь России за их закостенелое невежество и упорное противодействие его нововведениям, были сделаны значительные послабления.

Приверженцы старины громко радовались таким реформам и предвещали ещё многое на этом пути возвращения вспять. Говорили, что Россия медленным, но верным шагом вернётся назад к тем обычаям и порядкам, какие существовали до Петра.

В то же самое время толки о браке царя с княжной Екатериной Долгорукой усиливались всё больше и больше. Теперь об этом говорили уж не тайно, как прежде, а почти вслух. Многие даже поздравляли Алексея Григорьевича с счастливой фортуной, выпавшей на долю его дочери.

Долгорукий не протестовал против таких поздравлений, а только скромно улыбался и отвечал:

– Не решено пока ничего, государи мои...

Алексей Григорьевич продолжал начатую им игру и положительно не отпускал молодого царя от себя ни на шаг, сопровождая его всюду и окружая постоянно членами своего семейства, среди которых

первенствующее место занимала, конечно, княжна Екатерина. Алексей Григорьевич брал её на царские охоты, привозил во дворец для игры с царём в шахматы, – словом, старался приучить юного государя к её присутствию, привязать его к ней и сделать её так же необходимой, как необходим был для юного императора ещё недавно фаворит Иван Долгорукий.

И это ему мало-помалу удалось.

Иван Долгорукий почти совершенно отдалился от царя, несмотря на все увещания друзей, предвещавших ему, вследствие этого, если и не полное падение, то, во всяком случае, немилость.

Но Иван только резко встряхивал своей курчавой головой и отвечал на все эти увещания одно:

– Ну и пусть... Да и лучше, коли меня в Берёзов сошлют... Образумлюсь я там, по крайности...

Его кутежи и дебоши так прогремели на всю Москву, что придворные вельможи только ахали да плечами пожимали, втайне удивляясь долготерпению Петра, страшно скучавшего без своего любимца и в то же время жалевшего его, – жалевшего в особенности потому, что он замечал в Иване какие-то странные признаки душевного горя, какой-то тайной болезни. Пробовал царь расспросить своего фаворита о причине внезапной перемены в его характере.

– Скажи, Ваня, что с тобой случилось? – спросил он его как-то раз.

– Ничего, ваше величество.

– С чего ты такой грустный?

– Да так... Взгрустнулось.

– С чего взгрустнулось-то?

– А Бог знает с чего. Нельзя же всё хохотать да смеяться, надо и погрустить, – с оттенком горечи в голосе отозвался Иван.

И больше ничего не мог добиться царь. Иван или не мог, или не хотел рассказать, что его угнетает, что заставляет его в каком-то беспробудном пьянстве убивать свою молодую жизнь.

Наконец царь, интересовавшийся всё более и более странным

поведением своего фаворита, обратился за разъяснением истины к его отцу.

– Что это с Ваней творится, Григорьич? – задал он вопрос старшему Долгорукому.

– Дурит он, ваше величество, и ничего больше.

– Да с чего дурить-то? Всё человек человеком был, а тут вдруг так изменился, что и узнать нельзя стало. Хотя ты бы его поспрошал, что ли. Алексей Григорьевич досадливо отмахнулся рукой.

– Спрашивал.

– Ну, а он что?

– У него один ответ: "Хочу-де гулять, потому и гуляю!" Нешто он отца ценит! Ведь ноне, ваше величество, дети-то какие пошли: ты ему слово, а он тебе двадцать; ты ему пальцем погрозил, а он на тебя с кулаками лезет.

– Ну, Ванюша-то, чай, не таков?

– Был не таков, а теперь Бог знает что с ним случилось! Просто приступу никакого нет!

Царь на минуту задумался, потом быстро сказал:

– А знаешь, Григорьич, у Вани какое-то горе, должно, есть.

– Какое у него горе! – пренебрежительно отозвался Долгорукий. – Дурости в нём, точно, что много.

– Ну, это не скажи! – возразил Пётр. – Совсем он не таков стал, каким был прежде: и похудел, и побледнел, и глаза такие грустные стали. Нет, Григорьич, не говори! С Ваней что-то случилось. Вот если бы ты расспросил его, да расспросил толком, очень бы я тебе благодарен был. Может, мы чем ему и помочь сумеем.

– Хорошо, ваше величество, спросить спрошу, а скажет ли он что мне, – за то не ручаюсь.

И действительно, через несколько дней после этого, когда Иван как-то случайно попал домой во время присутствия отца, Алексей Григорьевич дружески взял его под руку и увёл к себе в кабинет.

– Садись-ка, Иван, – сказал он, усаживаясь сам в кресло. – Мне с тобой

поговорить надо.

Иван Алексеевич недовольно передёрнул плечами, презрительно улыбнулся, но всё-таки сел и спросил:

– О чём это ещё?

– Скажи ты мне на милость, с чего ты это дурить-то вздумал?

Иван Алексеевич свистнул и быстро поднялся с места.

– Опять старые песни! И как это вам, батюшка, не надоест попусту языком трезвонить! Чай, я не малолеток и без вас хорошо знаю, что мне делать надо. Хочу гулять – и буду гулять, и никто мне в том запрета положить не смеет! – И он резко шагнул по направлению к двери.

– Постой, шалая твоя голова! – воскликнул Алексей Долгорукий, вскакивая с места и почти насильно удерживая сына.

– Никто тебе запрета и не делает, а коли я с тобой говорить стал, так не почему иному, а просто из жалости. Ведь гляди ты на себя, на кого ты нынче похож!

– Эх, батюшка! – досадливо отмахнулся Иван.

– Ничего не батюшка! И рукой отмахиваться нечего. Ведь в самом деле стыдно, что таким пьянчугой князь Долгорукий сделался! Глядеть-то на тебя и противно и жалко!

– Ну и не глядите! – опять вспыхнул Иван.

– Да и не глядел бы, кабы ты не плоть моя да кровь был! Ведь пойми ты, Ваня: извёлся я, на тебя гляючи! Ведь чую я, сердцем чую, что неспроста ты это колобродить стал. Ведь, видимо, горе какое-то тебя ест. Ну и скажи мне толком, что с тобою попитчилось? Ведь пойми ты, глупый, – не враг я тебе!..

И в голосе Алексея Григорьевича зазвучали такие мягкие нотки, что Иван удивлённо поглядел на отца. Непривычны ему были как-то и эта ласковость тона, и этот любовный взгляд, которым глядел на него отец, всегда суровый и необщительный. И совершенно против воли молодой человек почувствовал, как в его сердце закопошилось отзывчивое тёплое чувство, что и в нём воскресла давно заглохшая сыновняя любовь, – и он, в свою очередь, бросил на отца смягчённый ласковый взгляд.

Алексей Григорьевич заметил, какое впечатление произвели на сына его слова, и не стал терять даром времени.

– То-то, Ваня, – снова заговорил он, – напрасно ты на меня всё это время зверем смотрел. Ведь как-никак, а нам с тобой не пристало в ссоре жить, особенно теперь. Знаешь, как на нас все зубы точат. Чуть повихнись мы малость, так нас скovyрнут, что и поминай как звали. Потому и не след нам друг на друга злиться. Будем в мире жить, – и нам всё нипочём, всякую препону обойти сумеем. Ведь вот вижу я, что у тебя горе есть, – ну и скажи мне, авось и поправим дело.

Иван всё время слушал отца, не прерывая его ни малейшим жестом и низко опустив голову. А когда отец кончил, он печально усмехнулся и сказал:

– Нет, батюшка, не мое дело: моего горя никому не избыть.

Алексей Григорьевич улыбнулся и покачал головой.

– А знаешь, Иван, я ведь догадался, что тебя за горе точит... – сказал он. – Чай, у тебя зазноба появилась?

Младший Долгорукий нервно вздрогнул и прошептал:

– Верно. И от той зазнобы я и места себе не нахожу...

– Ну вот видишь, глупый! Давно бы сказал. Не велика ещё эта беда. Присватывайся, да и давай свадебку играть.

Иван Алексеевич тяжело вздохнул и промолвил:

– Моя зазноба за меня не пойдёт.

Отец расхохотался.

– Вот тебе раз! – воскликнул он. – Да ты, никак, Иван, с ума спятил! Да какая же это невеста сможет Ивану Долгорукому отказать? Такой ещё не народилось. За тебя всякая с радостью пойдёт.

– Эта не пойдёт.

– Да кто "эта"?! Сказывай толком.

Иван Алексеевич встал с места, подошёл к двери, приотворил её, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает, затем снова уселся и тогда только сказал:

– Принцесса Елизавета Петровна!

Алексей Долгорукий даже руками развёл от удивления.

– Вот тебе раз! – произнёс он. – Неужто?..

– Вот с этой-то любви на меня и дурость напала! – отозвался князь Иван. – Хотел её пересилить спервоначалу, да не смог. И наяву-то она мне всё грезилась, и во сне-то мне от неё покою не было, – ну и зачертил, чтобы хоть немного забыться. Да нет, не забудешь! Уж так-то я колобродил всё это время... Иному бы пора на погост отправиться, а я, вишь, всё жив да всё о ней думку думаю.

Горькая улыбка скользнула по его губам и затерялась в глубине сразу затуманившихся слезами глаз.

Алексей Григорьевич молча поглядел на него несколько секунд и потом промолвил:

– Эх, Иван, Иван! Погляжу я на тебя, какой же ты ещё глупый! Чем всю эту дурость на себя напускать, заслал бы сватов – да и кончено дело!

– Да ведь это невысказано! – простонал Иван.

– Да ты пошли.

– И посылать нечего!

– А хочется тебе счастья?

– Господи! – воскликнул Иван. – Да я, кажись, с ума бы сошёл с такой радости!

– И с ума сходить нечего! Ты только меня слушайся. Вот объявит не сегодня-завтра государь Катю своей невестой...

– Да нешто это возможно! – перебил Иван.

– Коли сказываю, – стало, возможно. Всё дело теперь вот как налажено, и не сегодня-завтра сие совершится. Так вот опосля этого мы и донесём государю о твоей любви. Он тебя так любит, что, наверно, сам в сватах будет... Ну а ему уж принцесса Елизавета Петровна отказать не посмеет.

– Хорошо, кабы так было, – прошептал Иван.

– Да уж будет. Ты только дурость свою брось. А самое главное – смотри, Иван, старайся его на брак с Катей настраивать. Ну а опосля и за твои делишки примемся... Так как же, Ваня, идёт, что ли?..

Иван подумал немного, потом быстро поднялся с кресла и протянул отцу

руку.

– Идёт, батюшка!

– Ну вот и ладно! – обрадовался Алексей Григорьевич. – А теперь давай поцелуемся.

И отец и сын бросились друг другу в объятия.

Глава II. ЦАРСТВЕННЫЙ СВАТ

Принцесса Елизавета Петровна, проживая в своём подмосковном имении Перове, и не думала возвращаться в город. Она даже рада была, что её все оставили в покое и она могла жить такую жизнью, какая ей нравилась.

Вдали от придворной жизни, от придворных козней и интриг, она отдыхала душой на лоне сельской природы, к которой чувствовала какое-то особое пристрастие. Окружённая небольшим штатом искренно преданных ей людей, она жила самую спокойную жизнью, поздно вставая, ещё позже ложась спать, целые дни проводя или на селе, или в громадном саду, окружавшем перовский дом. Она страстно любила простые деревенские песни, и каждый день в её саду звенели молодые девичьи голоса, слышались звуки бандуры и балалайки, слышался её весёлый, беззаботный смех.

Московские гости навещали её очень редко, да она и не любила их наездов, потому что эти визиты всё-таки растрavляли её сердечные раны. Ей волей-неволей приходилось заводить разговоры о придворных делах, волей-неволей приходилось отвечать на неизбежные вопросы, почему она не возвращается в Москву. Особенно в этом отношении ей надоедал Алексей Юрьевич Бибииков, несмотря на свои шестьдесят лет, поклонявшийся ей и считавший своим неременным долгом приезжать к ней хоть раз в неделю, сообщать все придворные новости.

В последний раз он положительно даже надоел Елизавете Петровне: и своей старческой любезностью, и нескончаемыми рассказами о том, что делается в Москве.

– И к чему вы мне всё это говорите? – набросилась на него наконец

Елизавета. – Совсем мне это неинтересно знать, и слушать-то я этого вовсе не хочу!

– Ну как так, матушка, ваше высочество, неинтересно! – возразил Бибиков.

– Верьте слову, никакого интереса нет.

– Ну уж простите, не поверю! Чай, государь император не чужой вам: племянник небось родной... А ведь он совсем ребёнок. Кроме вас, доброго-то родственного совета ему никто не даст.

– Так вот вы и дайте.

Бибиков испуганно замахал руками.

– Что вы, что вы, матушка, нешто это возможно! Да я не посмею.

– Да почему же не посмеете?

– Как можно! И не послушает он меня, да и Долгорукие меня живьём съедят. Чай, вам ведомо, в какой они силе. Своя-то шкура каждому дорога!

Елизавета весело расхохоталась.

– Ну вот то-то же, Алексей Юрьевич! Сами до того договорились. И меня государь не послушает, и меня Долгорукие живьём съесть могут, так к чему же мне на их зубы лезть!

– Ну как так, ваше высочество! – заметил Бибиков, – чай, вы государю-то тётка.

– Так что ж из того? Было время, когда меня Петруша слушался, это точно, а теперь куда же мне мешаться в дела! Что хотят, то пусть и делают... Бросим об этом разговоры вести да пойдём-ка лучше в сад. Ишь, день-то какой нонче выдался! Ровно бы и не сентябрю впору! Пойдём-ка, старинушка! Послушаем, как нам девки песенки попоют. Хорошо они у меня поют, – так за сердце и берёт иной раз!

И она почти бегом направилась к стеклянной двери, выходящей на галерею, а оттуда спустилась прямо в сад. Денёк действительно выдался на славу. Яркое солнце сильно пригревало землю и словно расплавленным золотом обливало пожелтевшую и покрасневшую листву деревьев, наполовину уже оголённых. Яркая зелень травы на лужайках

поблѣкла, и на ней целыми кучами валялись опавшие листья, словно хороня под своим жѣлтым ковром промокшую от осенних дождей землю, которую теперь леденил своим дыханием холодный северный ветер. Безоблачное небо, голубым плащом раскинувшееся над головами, тоже, казалось, поблѣкло и потеряло свою яркую летнюю окраску. Природа умирала, и следы её медленной агонии сказывались на всѣм. Сломанные ветром сучья валялись на тропинках; цветы на клумбах печально склонились к земле, точно понутив свои облетевшие, словно смятые суровою рукою времени, головки. Птичьего гомона не было уже слышно, и ему на смену жалобно, точно шепчась друг с другом, шумела ещё уцелевшая листва под набегамы резкого ветерка да роняла капли недавно прошедшего дождя, точно плача о своей скорой смерти. Елизавета Петровна в сопровождении Бибикова дошла до небольшой лужайки, затерявшейся в глубине берѣзовой рощи. Здесь около бесѣдки в живописном беспорядке группами расположились деревенские девушки, давно уже поджидавшие её прихода. При её появлении они все разом поднялись со скамеек и гурьбой повалили к ней навстречу.

– Здравствуйте, касатки, – ласково приветствовала их Елизавета Петровна.

– Здравствуй, матушка, ваше высочество, солнышко наше красное! – хором откликнулись девки.

– Чай, заждались меня? Вот на сего старичка пеняйте, – показала Елизавета на Бибикова, – это он меня позадержал.

– Не велика важность, государыня, и подождали! – отозвалась одна из девок побойчее. – Хоть век рады ждать, лишь бы твоѣ личико пресветлое увидеть! Что ж, матушка, прикажешь запевать?

– Запевай, запевай, Аграфена! Вот и старичок мой вашего пенья послушает. Вот видишь, Алексей Юрьевич, – обратилась она к Бибикову, – на что мне другие развлечения, коль у меня здесь такие забавы есть. Песен захочу, – так девки что твои соловьи зальются! Надоест пенье, – хороводы водить заставлю... А коль и это прискучит, – так у меня такие плясуны есть, что, гляючи на них, все косточки

ходуном заходят, да и сама в пляс пустишься!

– А и важно пляшет государыня-матушка! – вступила в разговор Аграфена. – Никому супротив неё так не сплясать.

– Так вот, – видишь, какое у меня веселье, старинушка?

– Развесёлое житьё! – с едва заметным оттенком иронии заметил Бибииков.

Елизавета подметила эту иронию и вспыхнула.

– Конечно, развесёлое! – резко сказала она. – Уж не то что на куртагах! Ещё при батюшке покойном, пожалуй, и взаправду веселились, а теперь что! Так – кислота одна! А я, брат, этого не люблю. Я, сударь мой, совсем русский человек, и коль веселюсь уж, так веселюсь так, что небу жарко становится! Ну девушки, – повернулась она к своим певуньям, – затягивайте, да весёлую...

И, сказав это, она уселась на ближайшую скамью, пригласив жестом сесть рядом с собою и Бибиикова.

Девки стали в кружок. Аграфена затянула какую-то весёлую песню, но не успел хор подхватить её, как по аллейке, ведущей от дома, показался управляющий имением цесаревны сержант Семёновского полка Алексей Никифорович Шубин. Он махал руками, что-то такое кричал, но за дальностью расстояния ничего нельзя было расслышать.

Елизавета торопливо поднялась с места, махнула рукой девушкам, которые тотчас же оборвали песню, и крикнула:

– Что такое, Алехан, случилось? Чего ты так взгомонился?

Шубин подбежал к цесаревне и, едва переводя дух, сообщил:

– Гости, ваше высочество, гости приехали!

– Какие ещё гости? – недовольно спросила Елизавета.

– Важные гости, ваше высочество! Сам государь император!

Цесаревна радостно вспыхнула.

– Петруша? – воскликнула она. – Вот так сюрприз!

И она бросилась бежать по направлению к дому.

Молодой царь приехал не один. С ним был и Алексей Григорьевич, и Иван, и фельдмаршал Василий Владимирович Долгорукий.

Государь был очень весел и оживлён, хотя, как показалось Елизавете, давно уже не выдавшей племянника, он был точно бледнее обыкновенного, а на его миловидном детском лице, несмотря на улыбку, скользила какая-то туманная тень.

– Здравствуй, тётушка! – радостно приветствовал юный император цесаревну.

– Здравствуй, Петруша! Да как ты вырос, да возмужал как, просто и не узнать!..

Пётр самодовольно улыбнулся и сказал:

– А мы к тебе, тётушка, в гости на целый день! Рада не рада, а принимай гостей.

– Да конечно, рада! – отозвалась Елизавета. – Уж и благодарить-то как тебя, Петруша, не знаю, что ты обо мне наконец вспомнил!

– Да вот, вспомнил-таки. Дай, думаю, к тётушке прокачусь, давненько мы с ней не видались. Вот и приехал.

Но не одно желание повидаться с любимой тёткой привело Петра к ней. У него была совсем другая цель. Дня два тому назад Иван Долгорукий признался царю в любви к его тётке, и тот вызвался быть его сватом.

Иван Алексеевич проговорился совершенно случайно.

– Признайся-ка мне, Ваня, – спросил между прочим царь, – с чего ты в последнее время такой грустный и неразговорчивый стал? Сказывал мне твой отец, что ты, вишь, влюбился, так поведай мне, кто это твоё сердце полонил. Уж не Шереметева ли ненароком? Сказывают, что она к тебе большое пристрастие питает. Она ведь красавица. Хочешь, посватаю?

– Нет, ваше величество, – отозвался Иван, – ту, в кого я влюблён, вы мне не посватаете.

– А почему бы это так? – полюбопытствовал царь, задетый за живое.

– А потому, что это такая невеста, о которой мне и мыслить не след.

– Да кто ж она такая? Сказывай.

– И сказать боюсь.

Пётр пристально посмотрел на своего любимца и потом воскликнул:

– Тётушка?

Долгорукий смущённо опустил голову и едва слышно прошептал:

– Она самая.

Несколько минут царило томительное молчание. Особенно томительно оно было для Ивана Алексеевича, опасавшегося весьма возможного гнева царя.

Но царь не рассердился. Он точно опечалился чем-то, и голос его, когда он заговорил, вздрагивал и звучал какой-то подавленной скорбью.

– Так что же, Ваня, присватывайся.

– Не пойдёт она за меня, государь.

– Пойдёт! – возразил Пётр. – Коли хочешь, я сам в сваты пойду.

Иван Алексеевич недоверчиво взглянул на царя, но, видя, что он говорит совершенно серьёзно, порывисто упал к его ногам и, покрывая поцелуями его руку, проговорил:

– Ваше величество! Да ведь вы жизнь мою спасёте! И так я ваш раб душою и телом, а если осчастливите этим, так я не знаю, на какую казнь пойду за вас!

– Ладно, Ваня. Коли в том твоё счастье, – буду за тебя...

И с такими-то намерениями он и приехал теперь в Перово. Собрался юный император совершенно внезапно. Приехали к нему на завтрак Алексей Григорьевич да Василий Владимирович Долгорукие. Царь сказал с ними несколько слов, а потом вдруг и говорит:

– А что, Григорьич, куда ты меня ныне повезёшь?

– Да куда прикажете, ваше величество! – ответил Алексей Долгорукий. – Вот в Коломенском давно не были; коли угодно, поедем в Коломенское.

– Нет. Коли ехать, так мы лучше к тётушке поедем, – решил царь.

Алексей Григорьевич изменился в лице. Не по нраву ему была эта поездка к цесаревне. Но спорить было нельзя; а когда ему Иван шепнул о цели поездки, так он и совершенно успокоился.

Но принцесса Елизавета, понятно, и не подозревала, какая тайная причина руководила государем. Она рада была его приезду и суетливо распоряжалась, чтобы как можно лучше угостить государя, чтоб он остался всем доволен и чтобы наконец кончилась размолвка, так долго

тяготившая их обоих.

Царь оставался до позднего вечера. Он был так же весел, как и в минуту своего приезда, всё время шутил и от души смеялся болтовне Ивана Долгорукого, бывшего сегодня особенно в ударе.

Вечером уселись играть в ломберт, но царь не принял участия в игре. Он отозвал тётку в сторону и сказал ей:

– Пусть, тётушка, старички поиграют, а мы с тобой потолкуем. У меня до тебя дело есть. Только, чур, уговор лучше денег: напередки мне обещай, что всякую мою просьбу исполнишь.

– Ну это наперёд сказать невозможно. Может, ты о том попросишь, что и исполнить нельзя.

– Не беспокойся, тётушка, – сухо сказал государь. – Ничего невозможного я у тебя просить не буду.

– Ну а всё-таки? Говори напрямки. Коли можно, не откажу.

Пётр улыбнулся и пристально взглянул на царевну.

– Ты не должна отказать, – сказал он, – ни в каком случае.

Елизавета Петровна покраснела и нервно повела плечами.

– Вот как! – промолвила она.

Император точно смутился, потом взглянул в ту сторону, где сидел Иван Долгорукий, и, встретившись взглядом с его глазами, быстро, точно стыдясь своей нерешительности, произнёс:

– Я тебя, тётушка, сватать приехал.

Царевна поймала его взгляд, обращённый на Ивана Алексеевича, и сразу вспомнила о ходивших толках... У неё захолонуло сердце, и она тихо, почти шёпотом, спросила:

– За кого, ваше величество?

– За Ваню, – так же тихо ответил император.

Елизавета быстро поднялась с дивана, на котором сидела рядом с царём, выпрямилась во весь свой высокий рост и громким, сразу окрепшим голосом произнесла только одно слово:

– Никогда!

Государь резким движением схватил цесаревну за руку и шёпотом

заговорил:

– Я не досказал, тётушка, самого главного. Мне очень желательно, чтобы ты стала женой Ивана Долгорукого, и ты выйдешь за него замуж!

– Никогда! – опять повторила Елизавета Петровна, почти вырвав свою руку из рук отрока-императора.

Глава III. ВОСКРЕСШИЙ ПОКОЙНИК

Княжна Анна хирела с каждым днём всё сильнее и сильнее. У стариков Рудницких слёзы накали при взгляде на дочь, худую, бледную, точно ставшую какой-то прозрачной восковой статуей...

Пробовали они её лечить, призывали даже знаменитого в то время Блументроста, но и тот ничего поделать не мог. Он только развёл руками и, с присвистом понюхав табак из золотой табакерки, никогда не выходившей из его рук, сказал своим гортанным говорком:

– Ничефо нельзя сделать... Ничефо... Такой глупый болезнь...

– Но всё же долго она проживёт? – с замиранием сердца задал этот вопрос Василий Семёнович.

– Как Бог. Alles ist Gott... Фи ничефо не можно...

И с этим уехал.

И ещё печальнее стали старики, и всё чаще и чаще плакали втихомолку, таясь и от дочери, и друг от друга.

Но сама княжна Анна совсем не печалилась этим тайным недугом, уносившим её молодую жизнь. Она, казалось, даже радовалась внезапной слабости, охватившей её. Радовалась, когда, просыпаясь, замечала, что она чувствует себя гораздо хуже, чем она чувствовала вчера. Она точно радовалась медленному приближению смерти, словно эта смерть несла с собой полнейшее исцеление всех её горестей и мучений, словно там, в загробной жизни, её ждало то счастье, которое она утратила здесь на земле.

Она и раньше не надеялась на возвращение исчезнувшего жениха, а теперь, когда прошло почти три месяца с того рокового дня, она не могла иначе думать о нём, как о человеке, которого уже нет на земле, который

уже не может вернуться.

Иногда, когда отец или мать высказывали робкую надежду, что, может быть, Василий Матвеевич ещё жив, она даже не пробовала оспаривать их, а только молча осеняла свою грудь крестом и шептала:

– Господи, упокой душу убиенного боярина Василия.

И старики не старались уже больше разуверять её, потому что прекрасно видели, что их слова и их утешения не имеют для неё ни малейшего значения. Да теперь они и сами уже не верили своим прежним надеждам. Слишком много прошло времени со дня исчезновения Барятинского, и волей-неволей и им пришлось убедиться, что Барятинского уже нет в живых.

Если кто и сомневался в его смерти, если кто и боялся, что он ещё жив, так это Алексей Михайлович Долгорукий. В первую минуту, когда старый князь Барятинский ошеломил его подозрением в убийстве Василия Матвеевича, он вполне был уверен, что Антропыч сдержал своё слово и избавил от его врага. Но с течением времени эта уверенность мало-помалу исчезла, и главным образом потому, что сам Антропыч, который должен был тотчас же явиться с известием о смерти Барятинского и за получением заслуженной награды, не появился ни на следующий день, ни через неделю, ни через месяц и тоже, в свою очередь, исчез без вести, как исчезла его жертва. Это странное совпадение внушало Долгорукому мысль, что Антропыч обманул его, что он предупредил Барятинского о мести с его стороны и что Барятинский просто скрылся до поры до времени, а совсем не убит.

И чем далее шло время, тем сильнее убеждался Алексей Михайлович в своём странном подозрении. Он во всём находил подтверждение этой своей мысли. И в том, что старик Барятинский, настолько уже оправившийся от разбившего было его паралича, что к нему снова вернулся голос, не преследует его больше, как того можно было ожидать; и в том, что он даже не пробовал жаловаться на него царю; и в том, что Сенявин и Вельяминов до сих пор ещё не прекращали своих розысков, стало быть, они надеялись, что Василий Матвеевич не погиб.

В то же самое время Алексей Михайлович никак не мог отделаться от своей любви к княжне Рудницкой, немного было заглохшей в то время, когда он измышлял месть для своего соперника, и теперь вспыхнувшей с новой силой.

В действительности он, конечно, ни на минуту не переставал любить княжну Анну. Эта любовь согревала его чёрствое сердце и в то же самое время была для него донельзя мучительным чувством, так как он был вполне уверен, что Анна Васильевна никогда не полюбит его, никогда не согласится добровольно выйти за него, и всё-таки, несмотря на эту уверенность, он страстно желал обладания княжной Анной, хотел во чтобы то ни стало заставить её выйти за себя и с каким-то мучительным наслаждением вызывал в своём воображении картины будущего блаженства, когда молодая девушка будет в его власти.

"Пусть она меня не любит, – говорил он себе, – пусть ненавидит даже, мне это совершенно всё равно. Я хочу только её, и мне нет дела до её души!"

В этих словах выливалась вся его зверская натура, вся пошлость характера. Алексей Михайлович был одним из таких людей, которых не в состоянии тронуть страдание даже самого любимого человека, и который для удовлетворения своих порочных инстинктов способен даже на преступление. Любовь к княжне Анне даже нельзя было назвать любовью в истинном значении этого слова. Это была просто дикая похотливая страсть, возбуждённая препятствиями до самых высших пределов. Это была какая-то любовная горячка, в пароксизме которой человек способен разбить и свою голову, способен задушить и того, кто попадётся ему в руки.

Когда молодой Долгорукий узнал, что княжна Анна больна, что она худеет, бледнеет и с каждым прожитым днём приближается к могиле, – в нём проснулась не жалость к ней, не сожаление о том, что он разбил дерзновенной рукой её счастье, – нет, в нём вспыхнула боязнь, что молодая девушка может ускользнуть из его власти, что из его объятий, с жадным сладострастием протянутых к ней, её вырвет у него смерть, и что

ему не удастся потешиться над своей жертвой.

И в такие минуты он был в совершенном отчаянии. То он хотел броситься к старикам Рудницким и на коленях умолять их отдать за него несчастную княжну, то, убеждаясь в нелепости этого плана, он измышлял способы похитить молодую девушку, то бросался на колени перед образом и в пламенной молитве просил у неба здоровья для бедной княжны, и не потому, что он жалел её, а только потому, что её смерть могла разрушить все его дикие надежды. Но небо не принимало его молитв. Святые слова замирали на его губах, сердце было совершенно пусто, и он вскакивал с колен, полный отчаяния и тяжёлых мучительных дум.

Просить руки княжны было невыносимо. Он ничего не мог ждать, кроме позорного отказа, не только потому, что она его не любила, но и потому, что его считали виновником гибели Барятинского.

Оставалось только одно: похищение. Похитить молодую княжну было очень нелегко. Она никуда не выходила теперь из дома, а увезти её оттуда было просто невыносимо.

Но, остановившись на этом решении, Алексей Михайлович не терял надежды на то, что ему удастся каким бы то ни было способом заманить Анну Васильевну в западню.

– Только бы выманить её из дома, – говорил он, – а там я увезу её так далеко, что никто не найдёт наших следов.

Но действовать одному было невозможно, и невозможно главным образом потому, что не мог же он один, в самом деле, и заставить княжну выйти куда-нибудь на прогулку, и захватить её врасплох, и увезти куда-нибудь. Для этого нужны были помощники, и прежде всего нужно было отыскать их.

Единственный человек, на которого Алексей Михайлович мог вполне положиться, был, конечно, Антропыч, но Антропыча не было. Антропыч исчез бесследно, и Бог весть, где теперь находился. Значит, Антропыча считать было нечего. Но был ещё один субъект, о котором теперь вспомнил молодой Долгорукий. Это был один из дворовых его отца,

молодой парень. Совершенно случайно Алексей Михайлович превратил его в своего верного раба, избавив его от тяжёлого наказания, которому должны были подвергнуть Никиту по приказанию старого князя.

Никита провинился в чём-то и ни за что не хотел просить прощения, считая себя невиновным. Это глупое упорство чуть не стоило ему жизни. Михаил Владимирович, вообще обращавшийся мягко со своими людьми, вследствие такого упорства страшно взбеленился. Он приказал заporоть Никитку до смерти, и Никитку, конечно, заporоли бы, если бы за него не вступился Алексей Михайлович и не выпросил ему прощение у рассерженного отца. Михаил Владимирович отменил своё жестокое приказание, но под неременным условием, чтобы Никитка убирался долой с его глаз на оброк и никогда не смел появляться ни в одном его поместье, и тем паче на московском дворе. Конечно, Никитка не ждал такой милости, и когда ему из княжеской конторы выдали отпускную, он пришёл в горницу к Алексею Михайловичу, упал на колени и, обливаясь слезами, сказал:

– Вовек вашей доброты, ваше сиятельство, не забуду! Осчастливили, можно сказать, по гроб жизни! И скажите вы мне теперь, ваше сиятельство: умри, Никитка! – умру-с! слова не промолвлю!.. Во веки веков ваш раб, и если что понадобится, только клич кликните, – из-за тридевять земель прибегу-с!

И вот этого-то Никитку и вспомнил теперь Алексей Михайлович. Он мог быть прекрасным помощником в деле похищения княжны Рудницкой. Оставалось только узнать, где он теперь обретается. Это не представляло большого труда, потому что в дворне у Никитки были друзья, которые наверное знают об его местопребывании.

Алексей Михайлович не стал даром терять времени и тотчас же крикнул, подойдя к двери:

– Ермолай! поди-ка сюда!

В горницу тотчас же вбежал его слуга.

– Что угодно, ваше сиятельство? – спросил он.

– Ты помнишь Никитку? – обратился к нему Долгорукий.

– Это того самого, который на оброк ушёл? Помню, как не помнить! Мы, чай, с ним свойственники.

– Так ты, может быть, даже знаешь, где он и находится?

– Как же не знать! Вестимо, знаю.

– Так где же он?

– В Москве.

– А в каком месте?

– Да недалече отсюда, близ Алексеевского, на мельнице в засыпщиках живёт.

– А мельница-то чья, не знаешь?

– Как не знать – знаю. Мельница Тихоновская.

На этом разговор оборвался, а на другой день рано утром Алексей Михайлович велел оседлать лошадь и отправился по Троицкой дороге к селу Алексеевскому. Утро было морозное. Лёгкий иней белой пеленой лежал на оголённых сучьях деревьев и серебристым ковром покрывал поля, тянувшиеся по левую сторону дороги. Солнце только что встало и громадным багровым пятном, как будто совершенно лишённым лучей, глядело сквозь туманную дымку, затянувшую горизонт.

Вот вдали показались сосны дремучего Сокольнического бора. Дорога пошла целиной через лес, и горячая лошадь то и дело спотыкалась на змеевидных корнях деревьев, вылезших на поверхность земли. Здесь стояла прохлада. Резкий ветер, шумевший в ветвях лесных великанов, то и дело бросал в лицо Долгорукому мокрую пыль. Звон лошадиных подков гулко раздавался в лесной тишине, и гулкое эхо повторяло его по нескольку раз, замирая где-то вдали, в самой чаще, куда, казалось, совсем не проникал дневной свет.

Алексей Михайлович полною грудью вдыхал в себя свежий морозный воздух и, совершенно бросив поводья, предоставил полнейшую волю лошади, бежавшей мелкой рысцей. Он предавался своим думам, не дававшим ему ни на минуту покоя.

"Да с помощью Никиты, – думал он, – я живо обделаю это дело. Он парень, кажется, смышлёный... Как-нибудь выманю её из дома, а там в

кибитку – и поминай как звали!"

"А если она не вынесет потрясения да помрёт? – вдруг прорезала его мозг страшная мысль. – Да нет! Не может быть! – успокоил он себя. – Не умрёт же она, в самом деле, не так уж она слаба. Может, упадёт в обморок, – ну, да тогда я её отходить сумею, лишь бы она в мои руки попала".

Лошадь споткнулась о чересчур выдавшийся корень и захрапела. Это заставило его вернуться к действительности. Мысли, как стая испуганных птиц, разлетелись, и он удивлённо огляделся кругом. Дорога раздвоилась. Направо виднелась тропа, убегавшая в глухую чащу, где тёмная зелень сосен казалась совершенно синей. Налево дорога бежала в гору, из-за которой белела церковная колокольня с сиявшим в лучах солнца, как золотая звёздочка, крестом. Немного левее колокольни чернели крылья ветряка.

"Должно быть, это и есть Тихоновская мельница", – подумал Алексей Михайлович.

И, пришпорив лошадь, он во весь опор помчался в гору. Немного не доезжая до села, навстречу Долгорукому попался какой-то мужичок, скинувший перед ним свою шапчонку.

– Слушай, любезный, – придерживая лошадь, обратился к нему Алексей Михайлович, – где тут Тихоновская мельница?

– Да эвона! – ткнул мужик рукой по направлению ветряка. – Ишь, крыльями-то размахалась. Она самая и есть. На всю округу одна.

– А как мне к ней ближе проехать?

Мужик почесал в затылке и сказал:

– Да оно, государь-батюшка, больше через село ездят, ежели с этой стороны. Вот с Напрудного, точно, на неё прямая дорога.

– А прямо проехать нельзя?

– Целиной-то? Можно. Коли лошадь не увязнет, поезжай с Богом...

Алексей Михайлович бросил мужику какую-то мелкую монету и пустил лошадь рысью через вспаханное поле, а через несколько минут подъезжал уже к мельнице.

Ветряк так шумел крыльями под ветром, что даже заглушал этим шумом стук жерновов, потрясавших всю его стройку почти до основания. Мельница казалась не мёртвым деревянным срубом, а точно живым существом, дышавшим в такт мерной работе тяжёлых камней и гневливо шумевшим на какого-то неведомого врага своими крыльями, вертевшимися с такой силой, что они сливались в быстро вращавшееся колесо.

Долгорукий остановил лошадь около самого входа на мельницу, слез с седла и, подойдя к воротам, оказавшимся на запоре, несколько раз постучал в них. Стук его услышали очень скоро. Не прошло и минуты, как ворота отворились, и молодой парень, с ног до головы обсыпанный мукой, выглянул наружу.

Этот парень был не кто иной, как Никита.

– Ваше сиятельство! – воскликнул он, всплеснув руками и кланяясь чуть не до земли Долгорукому. – Вот не ждал я такой радости-то! Да что же у ворот-то стоите? Пожалуйте на мельницу. Я и лошадку вашу под навес поставлю.

И он схватился, уже за узду лошади.

– Постой! – остановил его Долгорукий. – Ты что здесь – один?

– Есть ещё мельник, Кондратом звать, да вы его, ваше сиятельство, и не увидите. Он теперь наверху на кузовах стоит.

– Ну всё-таки он мне помешать может. Мы лучше с тобой здесь потолкуем. Ты не забыл, что ты мне сказал, когда от нас в оброк уходил?

– Что вы, ваше сиятельство, как можно забыть! Во веки веков вашу доброту не забуду!

– И не откажешься мне в одном деле помочь?

– Да разрази меня Господь, коль откажусь! Сказано – ваш слуга. Прикажете хоть в огонь, хоть в воду лезть, – полезу!

– Вот я к тебе потому и приехал. Нужна мне твоя помощь, нужен мне такой человек, чтобы всё, что я скажу, сделал. За наградой, Никита, я не постою.

Никитка даже руками замахал.

– Что вы, ваше сиятельство! – воскликнул он. – Да нешто это возможно! Да я у вас в таком долгу неоплатном, что и без всяких наград всё сделаю!

– Ну ладно. Об этом потом разговор будет, а теперь слушай...

Но Долгорукий не успел сказать больше ни одного слова. Он совершенно случайно взглянул на Никиту и вдруг вздрогнул всем телом, побледнел как смерть и со страшным неистовым криком отшатнулся назад.

Сзади Никитки, в пролёте ворот он увидел бледное исхудалое лицо князя Василия Матвеевича Барятинского...

Глава IV. СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

Барятинского спас от неизбежной смерти положительно счастливый случай. Удар, нанесённый ему Сенькой Косарём, конечно, убил бы его на месте, если б у него на голове не было Преображенского пояркового треуха, значительно ослабившего силу удара. Но всё же этот удар был так силён, что он не только ошеломил его, лишил чувств, но и вызвал даже сотрясение мозга.

И Митяй, и Сенька сочли его убитым и потому не стали "приканчивать", тем более что им было теперь уже не до него. Им ещё предстояло позаняться Антропычем, тотчас же набросившимся на Барятинского, когда тот упал.

Сначала и Митяй, и Сенька помогали раздевать бесчувственного, казавшегося бездыханным, офицера, но когда Антропыч сорвал наконец заветный пояс с золотой начинкой, они приступили к нему.

– А это что за штука? – спросил Сенька.

– Да так, поясок немудрящий, – невинно отозвался старый разбойник.

– Так что ж, что немудрящий, – заметил Митяй, – мы и его дуванить будем.

– Зачем его дуванить, – возразил Антропыч. – Вы его уж мне уступите.

И Митяй и Сенька расхохотались.

– Ишь, какой лысый!.. Да небось в нём все червонцы...

– Какие червонцы! Ничего в нём нет. Тряпка, и больше ничего...

И с этими словами старик принялся дрожащими руками запихивать пояс за пазуху.

Но это ему не удалось.

Митяй схватил пояс за один конец, Сенька – за другой, и, как Антропыч ни сопротивлялся, они вырвали у него эту заветную для старого шута вещицу, вспороли ножом, неведомо откуда очутившимся в руках у Сеньки, – и червонцы, блеснувшие при тусклом свете лучины ослепительно ярким блеском, со звоном посыпались на пол, точно золотым ореолом окружая неподвижную голову несчастного Барятинского.

– Это мои червонцы! Мои! – завопил Антропыч. – У нас, чай, уговор был. Всё берите, а это не троньте... Это всё моё.

И он бросился на колени и, ползая по полу, стал подбирать желтевшие монеты.

Митяй резко схватил его за ворот и почти насильно поднял на ноги.

– Постой, старый дьявол! – крикнул он, злобно сверкая глазами. – Ты что это, надувать нас стал?

Голос Митяя звучал так грозно, что Антропыч сразу понял, что дело неладно. А взгляд, брошенный им на Сеньку, с самой ехидной улыбкой поглаживавшего пальцами левой руки нож, точно пробуя его остроту, окончательно убедил его, что его сотоварищи что-то против него замышляют.

Антропыч сразу переменялся в лице и слезливым голосом проговорил:

– Да что вы это, братцы! Уж неужто я и на самом деле нехристь... Чай, я не знал, что тут кружочки... Кабы знал, нешто я от дувана откажусь... Дуваньте по чести.

– А, теперь "дуваньте"! – расхохотался Сенька. – Ишь, старая кочерга, обмишулить нас замыслил. Ну да врешь, – не на таковских напал.

– У нас за обман расправа коротка! – угрюмо подтвердил и Митяй и придвинулся к дрожавшему Антропычу всем своим могучим телом.

Эти слова словно обожгли Антропыча. В нём проснулась страстная жажда жизни. Жить во что бы то ни стало, хотя бы для этого пришлось

поднять на ноги всё село, выдать с головою и себя, и своих сообщников, и Долгорукого...

И он одним прыжком очутился у двери и с громким, отчаянным криком распахнул её.

– Спасите! Режут! – заорал он благим матом.

Ещё мгновение – и он очутился бы на дворе и своим неистовым криком пробудил бы всю округу.

Но Сенька не зевал. Как кошка, бросился он на него, сильной рукой схватил его за горло и втащил назад в избу.

– Чего орёшь! – язвительным шёпотом сказал он. – Ещё не зарезали... Вот теперь ори, сколько влезет.

И он всадил в грудь Антропыча нож, который всё время держал в руке.

Старый разбойник захрипел и с подавленным стоном грохнулся на пол, заливая всё кругом кровью, фонтаном бившей из раны.

– Туда собаке и дорога! – хмуро буркнул Митяй и потом крикнул:– Эй, бабье! Буде валяться-то... Мы вот касатиков-то в чашу стащим, а вы тут всё замойте, чтоб этой поганой крови и следа не оставалось...

Через несколько минут по задам напруднинских изб медленно проехала телега, на передке которой, меланхолически посасывая трубочку, сидел Митяй. Около лошади, ощупывая палкой невидную в ночной мгле дорогу, шагал Сенька.

Когда телега въехала в рощу, Сенька заговорил:

– А куда мы их бросим?

– Да куда-нибудь подале, – хладнокровно отозвался Митяй.

– Стало, на Алексеевскую межу...

– Стало, туда.

И они снова замолчали.

Кругом стояла мёртвая тишина, которую изредка нарушали только неясные голоса ночи, словно доносившиеся из чащи, тихое ржанье лошади да скрип тележных колёс...

Но чем дальше углублялась телега в лесную чащу, тем глуше и глуше скрипели колёса, тем тише слышалось лошадиное фыркание...

Наконец ночная тишина совсем поглотила их, и только шум в ветвях лесных великанов, словно неясный шёпот, нарушал эту немую тишь...

Старый Кондрат, бывший мельником на Тихоновском ветряке, пользовался дурною славою во всей Алексеевской округе. Его называли колдуном.

Сам мельник и не старался оспаривать сложившуюся о нём народную молву. Казалось, он даже вполне доволен был тем боязливым уважением, с каким относились к нему соседи, и нередко, когда на селе кого-нибудь захватывала хворь, Кондрат не отказывался посетить хворого, принося с собою то настойку каких-то трав, то какие-то маслица, которыми он и пользовал недужных. И случалось иной раз, что хворь, захватившая человека, поддавалась его "ведовству", и об его знахарстве бежала громкая слава, сделавшая имя мельника известным на многие десятки вёрст вокруг. Но, несмотря на то, что Кондрат никому своим колдовством не приносил вреда, а скорее даже оказывал пользу, – его все боялись. Встречаясь с ним на рассвете, когда он возвращался с таинственных лесных прогулок, робкие мужики хотя и отвешивали ему низкие, чуть не до земли, поклоны, но тотчас же спешили отплюнуться в левую сторону и шептали, тайком крестясь:

– Свят, свят... Да воскреснет Баг, и расточатся врази Его...

И вот однажды, почти битком набив свой мешок разными корешками и травами, старый Кондрат хотел уже возвращаться домой, когда его зоркие, острые глаза упали на что-то белое, видневшееся на дне глубокого оврага.

Вчера, когда он проходил мимо этого оврага, он ничего не заметил. Такое странное явление заинтересовало старого мельника, и он, придерживаясь за кусты боярышника и малинника, густо разросшегося по более пологому склону, спустился в овраг.

Каково же было его изумление и ужас, когда он увидел здесь два человеческих тела. Один был молодой, красивый человек; другой – дряхлый старик, сплошь залитый кровью.

Это были Антропыч и Барятинский.

– Вот так штука! – воскликнул Кондрат. – Кто ж это такое умудрился сделать?!

Антропыч был уже мёртв. Жизнь давно уже, очевидно отлетела из его тела, потому что труп совершенно заоченел.

Но Барятинский был ещё жив.

Кондрат прислушался к его сердцу: оно хотя и очень слабо, но всё-таки билось.

"Ну ладно, сердешный, – подумал старик. – Мы тебя вызволим..."

И старик торопливо выбрался из оврага, отправился на мельницу, взял с собой Никитку и, вернувшись с ним вместе к роковому месту, перенёс бесчувственного Барятинского на мельницу, запретив Никитке строго-настрого кому бы то ни было говорить о своей находке.

Он положил Василя Матвеевича в своей маленькой каморке, пропитанной насквозь запахом сушёных трав, целыми пучками развешанных на потолке и стенах.

Первым делом, конечно, Кондрат стал приводить его в чувство, но это ему долго не удавалось. Наконец к вечеру другого дня Барятинский глубоко вздохнул, пошевелинулся и заговорил. Но с первых же слов, сказанных им, старый знахарь тотчас же понял, что если ему и удалось вызвать своего больного из состояния мёртвенного оцепенения, то это не значит, что болезнь уже прекратилась и что несчастный спасён от смерти. Напротив, болезнь приняла такую форму, которая устрашила старика. У Барятинского начался бред. Он выкрикивал какие-то непонятные, несвязные фразы, он то горел, как в огне, то леденел холодом смерти, то вскакивал, как будто стараясь убежать от каких-то грозных призраков, наступавших на него, то с тихим плачем бессильно падал навзничь и лежал, не двигаясь, словно не дыша, даже целые часы.

Старый мельник просиживал около своего больного целыми днями, даже и по ночам не уходил от его постели, прекратив совсем свои лесные прогулки. Он перепробовал на нём все свои средства, и наконец месяца через два Барятинский пришёл в себя и туманным взором огляделся кругом. Средства ли старика или просто сильная молодая натура

одержала верх в борьбе между жизнью и смертью, но он был наконец спасён.

Старик обрадовался, как ребёнок, и приготовился уже отвечать на бесчисленные вопросы, которые, по его мнению, должен был задать ему молодой человек, – и вдруг испуганно вздрогнул.

Барятинский глядел на него таким тупым, бессмысленным взглядом, который не оставлял ни малейшего сомнения в том, что если он не потерял жизни, то, во всяком случае, потерял рассудок.

Сотрясение мозга, вызванное ударом и осложнённое страшнейшим нервным потрясением, превратилось в помешательство, против которого старый мельник не знал никаких средств.

– Вот тебе раз! – грустно промолвил Кондрат. – Вот так вылечил!.. Почитай, кабы знать, что так кончится, и пользоваться-то его было не нужно. Что без рассудку жить, что помереть – всё единственно!

А Барятинский между тем приподнялся на локте, снова бросил кругом себя туманный взгляд и вдруг простонал:

– Спасите, спасите! Я не хочу умирать!.. Отдайте мне мою Аню! Зачем вы меня тащите в этот погреб? Здесь холодно, сыро, гадко!.. Я не хочу сюда, не хочу!..

И он закрывал лицо руками и пугливо прижимался к стене, словно у неё отыскивая защиту от каких-то ему одному видимых врагов, а потом вдруг вскочил, захохотал нервным истерическим смехом и без чувств грохнулся на пол.

Кондрат глядел на него печальным взором и тихо покачивал головой, не замечая того, как слёзы выбегают из его глаз и капля по капле скатываются по его морщинистым щекам. Тяжело было старику видеть эту надломленную молодую жизнь, потерявшую самую главную основу своего существования – разум.

Целый месяц прошёл вслед за тем, но он не принёс ни малейшего облегчения Барятинскому. Разве только острая форма, в которой выразилось его помешательство в первые дни после выздоровления, перешла теперь в более тихую, спокойную. Он просиживал целыми

днями в каморке Кондрата, не шевелясь часами и устремив бессмысленный взор куда-нибудь в угол. Изредка только, когда немолчный стук жерновов привлекал его внимание, он выходил из каморки, пробирался вниз, где наблюдал за помолом Кондрат, и, робко усевшись на груды мешков, опять-таки чуть не целыми часами просиживал здесь, почти не подавая признаков жизни.

Только в самые последние дни Василий Матвеевич решился выходить во двор мельницы, медленно прохаживаясь мимо амбаров и иногда подходя к воротам, которые предусмотрительный Кондрат, боявшийся, чтоб он куда-нибудь не убежал, постоянно держал на запоре.

Так было и в тот день, когда на мельницу приехал Алексей Михайлович Долгорукий.

Барятинский вышел на двор как раз в ту минуту, когда Никитка отворил ворота. До сих пор ему не удавалось заглянуть за забор, и, как всегда бывает у сумасшедших, его страшно тянуло хоть одним глазком взглянуть, что творится там, за чертой его обыденного жилья. Он медленно, на цыпочках подкрался к воротам, и вот в эту-то минуту и увидел его Долгорукий, сразу узнавший своего соперника и страшно перепугавшийся этому появлению живого мертвеца. Но лицо Долгорукого, на которое упал взгляд Василия Матвеевича, не вызвало в его больном мозгу ни малейшего воспоминания, не произвело ни малейшей реакции.

Долгорукий, схватившийся уже было за шпагу, видя, что Барятинский не проявляет никаких враждебных действий, немного успокоился и быстро спросил у Никитки, в свою очередь и удивившегося, и испугавшегося испугу Алексея Михайловича:

– Кто таков? Откуда он взялся?

Никитка оглянулся назад и, увидев за своей спиной Барятинского, добродушно улыбнулся и ответил:

– Этот-то? Да вы его не бойтесь, ваше сиятельство! Это так, несчастненький, совсем безумный человек!

– Да кто он такой?

– А Бог его знает! Поднял его Кондрат месяца три, почитай, назад в лесу да и приволок сюда. Старик-то знахарством промышляет. Долго с ним бился, пока не вызволил. Думали, помрёт, да вот не помер. Да только совсем без рассудка оказался...

"Три месяца назад, – подумал Долгорукий. – Он, он! и сомневаться нечего. Ну да теперь я его не боюсь, теперь он мне не страшен. Коли ум потерял, стало, всё равно что покойник. Захочу над ним потешиться, так потешусь всласть!.."

И вдруг дикая, адская мысль блеснула Алексею Михайловичу.

Глава V. АДСКАЯ МЫСЛЬ

"А что, если я его заставлю быть свидетелем похищения княжны Анны, – подумал Долгорукий, глядя на Василия Матвеевича злобным, торжествующим взглядом. – Пусть он ничего не поймёт... Но это будет моей мезтью Анне. Она увидит его здесь, больного, безумного... Эта мельница очень удобна. Я её привезу сюда и здесь заставлю отдаться мне... А после... после покажу ей её бывшего жениха... "Вот, – скажу я ей, – что сделал я из этого человека, посмевшего встать на моей дороге..."

Все эти мысли молнией промелькнули в его голове.

– Слушай, Никита, – сказал он вслух. – Ты должен мне повиноваться решительно во всём.

– Господи! – воскликнул парень, – говорю: на смерть пойду...

– Хорошо. Я тебе верю. Чья это мельница?

– Эта-то? Да кабатчицы из Троекурова, Ольги Тихоновны...

– Бывает она сама здесь?..

– Допрежь не бывала. А теперь кажинную неделю сюда денька на два наезжает. С офицером одним хороводится. Красовитая баба – страсть.

– А ты знаешь, в какие она дни сюда наезжает?

Никитка ухмыльнулся:

– Как не знать! Завсегда в одни дни. В четверг обнакновенно приезжает, а в субботу и назад, в Троекурово.

– А ты в такие дни на мельнице бываешь?

– Я-то, к примеру, здесь, потому для прислуги нужен. А вот старика, так того отсылают: должно – зазорно.

– Ну а дурачок-то этот здесь остаётся? – кивнул Алексей Михайлович на продолжавшего стоять с самым тупым видом у ворот Барятинского.

– Здесь. Я его обнаковенно в Кондратову каморку на замок запираю. Он ведь тихий, так и сидит.

Долгорукий задумался на минуту, потом сказал:

– Так вот что, Никита. Влюбился я в одну девицу и хочу её увозом увезти. Можно будет её сюда, на мельницу?

– Да сколько угодно, ваше сиятельство! Только ежели конечно, окромя тех ден, когда сама хозяйка здесь бывает.

– Ну понятно, – отозвался Долгорукий. – А увезти мою красулю ты мне поможешь?

– Только скажите, что угодно сделаю.

– Так вот мы как сделаем, – продолжал Алексей Михайлович, – когда присплет пора девицу мою похитить, я нарочно за тобой пошлю, а ты к тому времени постарайся старика куда ни на есть услать, а сам ко мне в Москву спеш.

– Ладно, – согласился Никитка и потом спросил:– А несчастенького-то здесь можно оставить? А то ведь его девать-то некуда.

– Здесь, здесь оставь! – поспешно сказал Алексей Михайлович. – Запри его в каморку, он нам не помешает.

– Где помешать, – заметил Никитка, бросив на Барятинского взгляд какого-то презрительного сожаления. – Где ему помешать. Ишь, он точно младенец... Так это смотрит, а чтобы понимать что – ни-ни...

И действительно, Василий Матвеевич всем своим теперешним видом производил впечатление какого-то забитого, ничего не могущего ещё осмыслить ребёнка. Его тупой, бессмысленный взгляд так равнодушно скользил по всем предметам, на которые устремлялись его глаза; лицо его было так безжизненно, что даже у Долгорукого в душе зашевелилось какое-то минорное чувство. Точно жалко ему стало на мгновенье этого

бедного, больного идиота, ещё так недавно бывшего одним из блестящих гвардейцев.

Но это минорное чувство исчезло так же быстро, как и появилось, сменившись приступом дикой злобы.

"Так ему и надо, – пронеслось в лихорадочно работавшем мозгу Алексея Михайловича, – так ему и нужно. Сама судьба с лихвой отомстила ему за меня... Не становился бы на моей дороге... Не забывал бы, что с Долгорукими бороться не след..."

– Так как же, ваше сиятельство, – нарушил его размышления Никитка, – скоро вы мне это дельце-то предоставите?..

– Скоро... скоро...

– Так я наготове буду...

– Да-да. Как только всё наладится, я тебе дам знать.

– Слушаю, ваше сиятельство...

И сказав это, Никитка бросился подсаживать князя на лошадь. Тот уселся в седло, дал коню шпоры и помчался от мельницы назад, крикнув:

– Прощай, Никитка!

– Прощенья просим, ваше сиятельство, – кланяясь вслед Долгорукому, надрывал горло парень. – Будьте благонадёжны. По гроб жисти ваш раб...

– Дяденька! – вдруг услышал он сзади слабый, дрожащий голос.

– Что тебе?! – повернулся парень к "несчастненькому", глядевшему теперь на него далеко уже не таким туманным взором, как за минуту назад. Казалось, что тусклота глаз если и не совсем исчезла, то всё-таки не затемняла теперь проблеска какой-то тревожной мысли, вдруг мелькнувшей в его больном мозгу. – Что тебе? – переспросил Никитка.

– Кто это?.. С кем ты разговаривал? – спросил Барятинский, продолжая смотреть в поле, туда, где лёгким дымком клубилась пыль, поднятая лошадью Долгорукого.

– А тебе на што! – огрызнулся парень.

– Да я так... Ведь это разбойник... разбойник, дяденька, – скороговоркой зашептал Василий Матвеевич, и на лице его отразился такой ужас, что даже Никитке стало страшно.

– Чего ты ещё мелешь!..

– Разбойник... разбойник, дяденька... разбойник... – продолжал шептать Барятинский, переходя на какой-то детский, плаксивый тон. Казалось, что вот-вот слёзы заблестят на его ресницах и он разрыдается...

– Будет, будет, – остановил его Никитка. – Ишь, бедняга! Должно, это тебя разбойники так обработали... Ну пойдём, пойдём... Надоть ворота-то припереть...

Он взял Барятинского за руку, ввёл его снова во двор и, запирая ворота, прибавил:

– А это, братец, не разбойник... Это, братец, важная персона... Это, голубь ты мой, сиятельнейший князь Алексей Михайлович Долгорукий; вот он кто, а не разбойник.

И Никитка, покончив с тяжёлым замком, направился внутрь мельницы.

Но его слова, очевидно, не произвели ни малейшего впечатления на бедного Барятинского. Он медленным шагом отошёл от ворот через весь двор к амбару, уселся там на обрубок бревна и, всё так же бессмысленно глядя в пространство, продолжал шептать:

– Разбойник... разбойник... разбойник...

Алексей Михайлович возвращался домой совсем не в таком спокойном настроении, в каком ехал на мельницу. Неожиданная встреча с Барятинским, которого он почитал уже умершим, если и не подняла в нём угрызений совести, зато испугала его не на шутку. Хотя в первую минуту узнав, что Василий Матвеевич потерял рассудок, он и успокоился немного, но теперь опасения пробудились с новой силой. Особенно его тревожила таинственность, окружавшая исчезновение Барятинского и Антропыча, и то, что Антропыч исчез совершенно бесследно, в то время как Василий Матвеевич всё-таки нашёлся. Исчезновение Антропыча и раньше уж наводило его на смутное предположение, что старый бродяга его предал и что Барятинский не убит, как того страстно ему хотелось. Теперь эта встреча вполне подтвердила его прежние предположения, и он невольно задумался обо всём этом происшествии, в котором пришлось ему играть такую незавидную роль. Он боялся того, что Барятинский

только прикинулся потерявшим рассудок, что он выжидает удобного случая отомстить своему врагу, но он тотчас же вспомнил, что Никитка не стал бы уверять так в сумасшествии, если бы не знал этого наверное. И это его немножко успокоило.

– Ну да что будет, то и будет! – разрешил наконец свои сомненья Алексей Михайлович. – Отступать некуда. Надо идти напролом. Что он жив, – мне это даже на руку. Так можно будет скорее заманить княжну Анну. Что Барятинский не в уме, – это верно, кажись. Больно уж у него безумный взгляд-то!..

Алексей Михайлович не прямо проехал к себе домой, а сначала решил побывать на Мясницкой, чтобы каким бы то ни было образом провести про здоровье княжны Анны. Ему не хотелось мешкать приведением в исполнение своего намерения, и он решил убедиться, настолько ли она слаба и болезненна, чтоб это могло помешать его замыслам. Хотя он прекрасно знал, что сама Анна Васильевна ни за что не пожелает его увидеть, но в то же самое время он рассчитывал, что старик Рудницкий не посмеет затворить перед ним двери своего дома, а особенно теперь, когда, может быть, через несколько дней Долгорукие породнятся с царём.

И Алексей Михайлович не ошибся.

Когда старику Рудницкому доложили о приезде нежеланного гостя, брезгливая гримаса пробежала по его лицу, но он всё-таки не решился отказать ему.

– Проси в кабинет, – сказал он слуге и, когда слуга ушёл, проворчал сквозь зубы: – И зачем только его принесло? Что ему только от нас надо?

Алексей Михайлович вошёл довольно развязно. На его лице не было и тени смущения, точно он пришёл в гости к своим близким друзьям, точно не он был причиной тех тревог и мучений, какие переживали теперь Рудницкие.

– А, ваше сиятельство! – весело возгласил он, крепко пожимая руку Василия Семёновича и как бы не замечая того недовольного вида, с каким его встретил старик. – Давненько мы с вами не видались. Ехал

мимо, – дай, думаю, загляну к старым знакомым. Надеюсь, вы на меня не в претензии?

– Что вы, князь! – смущённо пробормотал Рудницкий. – Я рад, очень рад! Милости прошу!..

Но ни в тоне его голоса, ни на его лице не было и тени радости. Сурово и сумрачно было это лицо; дрожал и прерывался его голос, и скорбная нотка звучала в нём.

– Ну как вы живёте-можете? – продолжал Алексей Михайлович, бесцеремонно усаживаясь. – Как здоровье Анны Васильевны? Я слышал, что она прихварывает? – также бесцеремонно спросил он.

Рудницкий поднял на него глаза, грустные, опухшие от слёз, теперь горевшие гневным огоньком. Но Долгорукого не смутил этот укоризненный взгляд. Он продолжал сидеть так же спокойно, так же весело улыбаясь, словно горе старика, так безжалостно растравляемое им, не имело к нему ни малейшего отношения. И старик невольно потерялся перед этим нахальством, и так же невольно, точно повинуюсь какой-то посторонней силе, ответил:

– Да... да, прихварывает... и сильно прихварывает. Совсем, бедняжка, захирела.

– Да что с нею такое?

– Бог знает...

Голос старика оборвался, и в нём зазвучали слёзы.

– А вы знаете, князь, я приехал к вам с доброй вестью.

– Мы отвыкли от добрых вестей, – грустно произнёс Рудницкий, качая головой. – А что за весть?

Долгорукий улыбнулся и сказал:

– Хорошая весть. Такая весть, которая способна послужить лучшим лекарством для вашей дочери.

Василий Семёнович широко раскрыл глаза от изумления:

– Вы шутите, князь! – прошептал он. – Неужели... Барятинский...

Долгорукий опять улыбнулся и развёл руками.

– Вам лично, князь, я ничего не скажу. Попросите Анну Васильевну

уделить мне несколько минут. Я сообщу ей нечто, и, поверьте, это на неё подействует благотворным образом.

Василий Семёнович даже привскочил с кресла.

– Что вы, князь! Это невозможно! – воскликнул он. – Она вас видеть не захочет.

– Уговорите её.

– Она меня не слушает. И потом, она так слаба... Она почти умирает.

Долгорукий испуганно вздрогнул. Тон старика был слишком естественен, чтоб он мог заподозрить его в лжи.

– Тем хуже, – воскликнул Долгорукий, – если она не захочет меня видеть. Я привёз ей избавление от смерти. Я должен поговорить с ней во что бы то ни стало. Скажите ей, что я приехал не со злом, что я не хочу растравлять её душевные раны. Я спасти её хочу, спасти... Понимаете, Барятинский жив!..

Это вырвалось у него совершенно невольно, и таким правдивым тоном произнёс он эти слова, что старик даже против желания поверил ему.

– Хорошо, – сказал Рудницкий. – Посидите немного, князь. Я скажу Аннушке, а там уж её воля.

Рудницкий торопливо направился к дверям, вполне уверенный, что Анюта откажется видеть Долгорукого.

Но, к его величайшему удивлению, она не отказалась.

Когда Василий Семёнович сообщил ей о приезде Долгорукого и о том, что он хочет непременно её видеть, – она быстро встала с дивана, на котором проводила теперь почти все дни. Впалые щёки её вспыхнули лихорадочным румянцем, глаза загорелись гневным огоньком, и она резко сказала каким-то хриплым, точно не своим голосом:

– А, так он приехал! Он хочет меня видеть. Хорошо же! Позовите его, батюшка, сюда!

Старик, испуганный её взволнованным видом, даже не тал протестовать, даже не сообщил ей об удивительном известии, привезённом Долгоруким, что Барятинский жив, поспешил привести Алексея Михайловича. Когда Долгорукий вошёл в комнату и увидел княжну, он

испуганно отшатнулся. Он и предполагать не мог, чтобы молодая девушка так страшно изменилась за каких-нибудь четыре месяца. Перед ним была не прежняя цветущая, пышущая здоровьем княжна Анна, а какая-то бледная тень её, какой-то призрак этой былой красоты, и невольно его сердце сжалось такой мучительной болью, что он едва подавил крик ужаса и сожаления, чуть было не сорвавшийся с его губ.

А молодая девушка, глядя в упор на него своим гневным взглядом, подошла к нему вплотную и медленно проговорила:

– Так вы хотели меня видеть, ваше сиятельство! Вам угодно было посмотреть, что случилось со мною по вашей милости! Смотрите, любуйтесь...

– Но, княжна, – попробовал прервать поток её гневных слов Алексей Михайлович.

– Молчите! Злодей! Убийца! Вы отняли у меня всё, всё в жизни!.. Разбили счастье... Убили моего жениха... Теперь вы хотите отнять у меня жизнь!.. Берите, берите! И помните, что мои проклятия на Страшном суде зачтутся вам. Будьте вы прокляты!!!

– Но, княжна! – опять воскликнул Долгорукий, – я не виноват в смерти Брятинского! Он не умер! Он жив!

Этот возглас заставил молодую девушку вздрогнуть всем телом. Он произвёл на неё впечатление громового ударами, подавленная этой неожиданной, хоть и радостной новостью, она лишилась чувств и бессильно упала на пол...

Глава VI. МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ

Обморок для княжны Анны не прошёл даром. Потрясение, которое испытала бедная девушка во время разговора с Долгоруким, вызвало сильнейшую нервную горячку, чуть совсем не сломившую её хрупкую натуру.

Старики Рудницкие совершенно уже отчаялись за её жизнь. Тем более что и сам архиатер Блументрост очень долгое время сомневался в успехе своего лечения, особенно ввиду того, что организм Анюты уже и так был

надломлен тяжёлыми душевными страданиями, что и так за эти три месяца со дня исчезновения Барятинского она таяла, как тает кусочек льда под лучами вешнего солнца.

На все тревожные вопросы князя и княгини Блуменрост неизменно отвечал:

– Ну что тут сказать... как даст Бог... Alles ist Gott! Медицине не всё возможно... Может, будет жить, может умрёт... Alles ist Goit!

Но, несмотря на такое скептическое отношение к собственным медицинским познаниям, он употреблял все усилия, испробовал все известные тогда науке средства, чтобы побороть упорную болезнь, свалившую княжну, и каждый день навещал её.

Целых три месяца продолжалась эта борьба между жизнью и смертью.

Наступила уже глубокая зима. Небо целыми днями сыпало крупными хлопьями снега, плотным ковром ложившегося на московских улицах и засыпавшего своим мёртвенным саваном всю природу, ещё недавно полную жизни.

Вся Москва точно заснула под этим белоснежным покровом. Замер немолчный грохот колёс, утихли громкие, визгливые крики фореиторов; не слышно уже стало звонкого щёлканья лошадиных подков бесчисленного количества всадников, пронесившихся по улицам в летнее время – всё погрузилось крутом в мёртвенную тишь, точно всё застыло под ледяным дыханием наступившей зимы.

Алексей Михайлович Долгорукий всё это время находился в страшной тревоге. Его часто можно было встретить прогуливающимся у Мясницких ворот, близ палат князя Рудницкого. Он страшно боялся, что княжна Анна не вынесет тяжёлой болезни и что вдруг сообщат об её кончине.

В такие минуты он положительно леденел от ужаса. Алексею Михайловичу казалось, что он не переживёт этого несчастья, что смерть княжны Анны выроет и для него могилу.

Вскоре после того, как он узнал о её болезни, он подкупил одного из слуг князя Рудницкого, который обязан был ежедневно сообщать ему о ходе болезни бедной княжны, о всех переменах её положения.

И долгое время Алексей Михайлович только и слышал:

– Не лучше; ваше сиятельство. Пласт пластом лежит княжна. Должно, не выживет.

Сначала эти печальные слова повергали его в ужасное отчаяние. Он чуть не плакал по уходе скорбного вестника; но дни проходили за днями, неделя убегала за неделей, и он мало-помалу привык к этому ежедневному ответу на свой тревожный вопрос.

Декабрь уже подходил к концу, когда этот ответ вдруг изменился.

Михешка, – так звали слугу князя Рудницкого, который являлся вестником Долгорукого, – прибежал как-то вечером запыхавшись, едва переводя дух, до того взволнованный, что Алексей Михайлович испуганно воскликнул:

– Что, умерла?!

– Нет, ваше сиятельство, – отвечивал Михешка, – слава тебе, Господи, выжили: не в пример лучше стало.

Долгорукий почувствовал, как кровь прихлынула к сердцу, и оно быстро-быстро забилося.

– Да ты не врешь? – воскликнул он.

– Что вы, ваше сиятельство, помилуйте! Да нам это всем такая радость, что и сказать невозможно! Мы небось княжну-то вот как любили! С чего мне врать!

– Ну спасибо тебе, братец! И меня-то ты обрадовал этим. Вот тебе за добрую весть!

И он, вытащив из кармана несколько рублёвиков, сунул их в руки Михешке.

Анна Васильевна действительно выжила. Жизнь победила смерть, и княжна стала поправляться. Нечего и говорить, что радости стариков Рудницких не было предела, когда они узнали, что дочь их не только выздоровела от последней болезни, но что есть надежда на полнейшее её исцеление от тайного недуга, подтачивавшего ранее её силы. Казалось, что болезнь, чуть не унёсшая молодую девушку в могилу, помогла ей побороть душевные страдания. Княжна стала теперь гораздо

веселее. Она начала полнеть. Глаза потеряли свою прежнюю тусклость, и на щеках появился хотя и слабый, но всё-таки заметный румянец.

Старики радовались такой внезапной перемене, но в то же самое время и удивлялись ей, не зная, что её вызвало. Между тем эта перемена объяснялась очень просто. Слова Долгорукого о том, что Василий Матвеевич жив, запечатлелись в её мозгу и, точно отзвук далёкого эха, отдавались в её душе.

Как раньше она была уверена в том, что Бярятинский погиб, как раньше эта уверенность подтачивала её силы и постепенно расшатывала её организм, так теперь эта робкая надежда словно воскресила её, заставила воспрянуть духом.

Как цветок, согнутый порывом ветра, снова поднимает свой венчик под лучами животворного солнца, так и она возрождалась, согретая явившейся надеждой, что Бярятинский ещё жив и что счастье ещё возможно. Выздоровление шло очень быстро. Силы крепили, и вместе с этими силами крепла и уверенность в том, что Долгорукий не обманул её.

"Только как бы узнать, – думала она, – где скрывается Вася. Очевидно, он болен, и никто, кроме Долгорукого, об этом не знает. Нужно, значит, от него добиться истины, нужно во что бы то ни стало".

Но как же это сделать? На этот вопрос молодая девушка долго не находила ответа. Сначала она хотела просить отца съездить к Долгорукому и узнать от него, где находится Василий Матвеевич, но потом решила, что это не поведёт ни к чему, что Алексей Михайлович ничего ему не скажет.

"Нет, нужно будет сделать что-нибудь другое, – размышляла она. И вдруг ей пришла в голову безумная мысль:– А что, если я сама отправлюсь к нему и буду просить его, чтоб он сказал мне, где теперь Вася. Ведь он когда-то меня любил. Он не откажет наверное в моей просьбе. Да, да, я так и сделаю!"

И это решение как бы ещё более подкрепило её...

Глава VII. В ЗАПАДНЕ

Княжна Анна никому не сообщила о своём намерении посетить Долгорукого. Она боялась, что и отец, и мать постараются воспрепятствовать ей в его осуществлении. Поэтому она выбрала для этого такое время, когда никто не мог помешать ей.

В доме Рудницких рано ложились спать, особенно в последнее время, когда княжна была нездорова. В восемь часов вечера уже потухали все его окна, старики Рудницкие уходили в спальню, а вслед за ними засыпал и весь дом. Анюта выждала, пока в громадных палатах наступила мёртвая тишина, и торопливо стала одеваться. Надев бурнус и закутав голову большим тёплым платком, молодая девушка на цыпочках, крадучись, стараясь не производить ни малейшего шума, вышла в коридор, оттуда через людскую пробралась на двор и пошла к воротам. Ворота обыкновенно запирались поздно, и она рассчитывала незаметно проскользнуть на улицу, но сегодня, как нарочно, ворота были уже заперты, и княжна невольно задумалась. Приходилось или разбудить сторожа, что было совершенно немыслимо, или отказаться от этой ночной прогулки, отложив её до более удобного времени. И она уже хотела вернуться домой. Но вдруг Анюта вспомнила, что на улицу есть ещё другой выход – через садовую калитку, запиравшуюся обыкновенно только на одну задвижку изнутри.

И опять, скользя как тень, с замиранием сердца, тревожно озираясь по сторонам, боясь, чтобы кто-нибудь не увидел её, она направилась к саду. За время её болезни некому было позаботиться об её любимом саде, и он оказался в страшно запущенном состоянии. Дорожки не разметались; целые сугробы снега навалило на них, и она с трудом добралась до калитки, почти по колена увязая в снегу.

Калитка оказалась действительно только запертой на задвижку и, на её счастье, отворялась не внутрь, а наружу, иначе ей бы никогда не выбраться на улицу, так как снег около забора лежал чуть не целой горой.

Пришлось повозиться и с задвижкой. Задвижка заржавела и с большим трудом поддавалась усилиям её нежных тонких пальчиков. Но наконец

калитка распахнулась, и княжна очутилась па улице.

Невольный страх охватил её. Тёмная, непроглядная ночь неприветливо встретила молодую девушку резким порывом холодного ветра, бросившего ей в лицо целую тучу снежной пыли. Испугала её и мёртвая тишина, стоявшая кругом, – такая тишина, в которой ей отчётливо слышалось каждое биение её трепетно стучавшего сердца.

На мгновение ей до того стало страшно, что она чуть не вернулась домой, и только мысль о Бярятинском, об её дорогом Васе, – мысль, как молния сверкнувшая в её разгорячённой голове, заставила её устыдиться охватившей её трусливости и поспешно перешагнуть через порог калитки.

– Я должна узнать, где находится Вася, – прошептала она, – я должна узнать это! Господь поможет мне. Он не оставит меня своей защитой.

И, осенив свою трепетно волновавшуюся грудь крёстным знамением, она торопливо двинулась вперёд, в эту чёрную мглу, окружавшую её со всех сторон.

Алексей Михайлович и не предполагал, какая желанная гостья спешит к нему. Он в это время только что вернулся из Лефортовского дворца вместе с отцом и тревожно шагал из угла в угол своей опочивальни, занятый невесёлыми думами.

Грозная туча появилась на горизонте благополучия князей Долгоруких и своей мрачною тенью испугала положительно их всех.

В последние дни молодой император как-то чересчур круто изменился по отношению к своим любимцам. Несмотря на то, что княжна Екатерина Алексеевна была уже официально признана его невестой, несмотря на то что царь уже обручился с нею, и это обручение было отпраздновано самым торжественным образом, – вдруг ни с того ни с сего, чуть ли не через день после этого обручения, появились тревожные признаки какой-то странной холодности со стороны Петра и к его будущей супруге, и к отцу царской невесты, и даже к Ивану Долгорукому. Казалось, что юный император вдруг сразу потерял расположение к своим недавним фаворитам, потому что узы брака, которыми хотели сковать его

Долгорукие, возмутили царя и вызвали его немилость, вызвали такое же отчуждение, какое явилось у него и к Меншикову, когда тому захотелось к своим многим громким титулам прибавить и титул царского тестя. Собственно, Долгоруких испугало не столько охлаждение к ним царя, сколько его внезапное своеволие, проявившееся в том, что он, вопреки просьбам и советам Алексея Григорьевича, раза два совершенно один ездил зачем-то к принцессе Елизавете Петровне, несколько раз посетил Андрея Ивановича Остермана и положительно стал избегать своего будущего тестя, очевидно тяготясь его назойливой опекой.

И Долгорукие встревожились не на шутку. Особенно испугало их то, что на сегодняшнем обеде в Лефортовском дворце царь, жаловавшийся всё время на лихорадку, почти не говорил ни слова со своей невестой, сидевшей рядом с ним, и в то же время почти без умолку болтал с Елизаветой Петровной, которая сидела сравнительно далеко, через несколько человек.

Алексей Михайлович прекрасно заметил, что когда княжна Екатерина Алексеевна обращалась к царю, он отвечал ей так неохотно, с таким очевидным неудовольствием, что бедная царская невеста то бледнела, то краснела и злобно теребила свой кружевной платок.

"Да видно, что батюшка царь не очень-то доволен своей будущей супругой, – размышлял Алексей Михайлович, продолжая мерить комнату крупными шагами. – Как бы с дяденькой Алёшей не повторилась меншиковская история? Что-то на то смахивает. Недаром старая лиса Остерман больным столько времени сказывается. Да и царь раза два у него бывал. Должно, это недаром. Что-нибудь Андрей Иванович с Голицыными да стряпают! Тогда что же с нами-то будет?" И ему вдруг стало страшно.

Немало было врагов у Алексея Михайловича, немало было людей, которые точили на него зубы и которые при малейшем повороте дел не в пользу Долгоруких ополчились бы на него и постарались бы стереть его с лица земли. Но тотчас же его мысли приняли другое направление, и он весело расхохотался своей трусливости.

"Чего же я, собственно, печаловаться-то начал? – продолжал он размышлять. – Кажись, мне ещё рано о Сибири-то думать! Может, это так государю с чего ни на есть попритчилось. Может, это он просто так Кате холодность оказывает. Ведь что там ни говори, а уж он обручён с Катей, а на шестнадцатое число и свадьба его назначена. Вот кстати теперь он заболел. За время-то болезни, чай, дяденька Алексей Григорьевич ни Елизавету Петровну к нему не пустит, ни Остермана, – и опять в силу взойдёт А коли он в силе будет, так мне трусить нечего. С такой заступой я никого не побоюсь".

В соседней горнице часы гулко пробили девять ударов.

– Батюшки! Девять часов! – спохватился Алексей Михайлович, – надоть спать ложиться. Завтра поране встать надо да Никитке весточку послать, чтобы сюда приезжал. Княжна Анна совсем оправилась, надо будет ею позаняться. Уж теперь она из моих рук не вырвется. Да и вообще с нею поспешать надо, потому Бог знает, что ещё со мной через несколько деньков будет.

– Стало, и надо дело теперь обработать, пока время есть... Эх, Анюта, Анюта, – вздохнул он, – если бы знала ты, как я тебя безмерно люблю!..

Он медленно подошёл к постели, откинул шёлковое одеяло и стал расстёгивать пуговицы кафтана, как вдруг в дверь кто-то постучался.

– Кто там? – окликнул Долгорукий. – Что ещё надоть?

– Это я, ваше сиятельство, – отозвался из-за двери Герасим.

– Что тебе нужно?

– Отворите дверку-то, дело есть.

Алексей Михайлович подошёл к двери, снял крючок, и в комнату вошёл Гараська.

– Ну что ещё случилось? – спросил Алексей Михайлович.

Гараська оглянулся крутом, словно боясь, что их кто-нибудь подслушивает, и с самым таинственным видом шёпотом сообщил:

– Там вас, батюшка князь, спрашивают.

Эта таинственность сообщения и тревожный тон голоса Гараськи как-то странно подействовали на Алексея Михайловича. Он испуганно

вздрагнул, точно предчувствуя что-то недоброе, и пугливо взглянул по направлению к двери.

В последнее время он почему-то стал страшно труслив. Ему всё чудились какие-то засады, он стал бояться темноты. Порой ему казалось, что на него устремлены тусклые, стеклянные глаза Барятинского, то ему чудилось, что на пороге комнаты вырастает низенькая, невзрачная фигура Антропыча, и он нарочно стал запира́ть на ночь дверь своей комнаты, чего не делал раньше, точно рассчитывая, что призраки, вызываемые его расстроенным воображением, не смогут пройти сквозь запертую дверь.

Порой боязливость его доходила до смешного. И даже ещё сегодня, возвращаясь из Лефортова, в потёмках зимнего вечера он страшно перепугался, подъезжая к воротам своего дома и заметив на противоположной стороне какую-то тёмную фигуру, неподвижно стоявшую на одном месте. "Барятинский! – мелькнула ему тревожная мысль. – Может быть, он убежал с мельницы и поджидает меня".

Но страшная фигура, так напугавшая Алексея Михайловича, оказалась просто сторожем соседнего двора. И теперь, когда Гараська с таким таинственным видом сообщил ему о "человеке, который его спрашивает", Долгорукому опять показалось, что это непременно должен быть или Барятинский или Антропыч.

– Кто таков? Что за человек? – тревожно спросил он Гараську. – Антропыч?

Гараська ухмыльнулся.

– Какой Антропыч, ваше сиятельство! Антропыч как в те поры пропал, так и досель его духом не пахнет. Должно, Антропыч теперь с чертями в свайку играет, ваше сиятельство! Какой это Антропыч!

– Так кто же? кто? – резко остановил словоохотливого Герасима Долгорукий.

– Да женщина какая-то пришла.

– Женщина?! – облегчённо вздохнул Долгорукий. – Что же ты раньше этого не сказал! Какая женщина?

– А Бог её знает! Пришла, этта, да спрашивает: князь, говорит, Алексей Михайлович дома? Я говорю: дома. Так поди доложи, что мне их сиятельство желательно видеть. Я вот и докладываю.

– Да от кого она?

– Неведомо.

– Да ты бы, дурак, спросил.

– Пытался спрашивать, да не сказывает.

Алексей Михайлович пожал плечами. Он никак не мог догадаться, от кого эта таинственная посланная, и тщетно ломал голову над разрешением этого вопроса.

Наконец он снова спросил Гараську, с глуповатым видом продолжавшего на него смотреть во все глаза:

– Где она, эта женщина?

– Где! Известно где – в людской! Прямо в людскую со двора пришла. Я говорю: посиди здесь, а я пойду доложу. И пошёл, а она там сидит.

– Ну ступай, скажи ей, что я сейчас приду.

– Ладно, так и скажу.

И Гараська хотел уже выйти за дверь, но Алексей Михайлович остановил его.

– Или нет, постой. Поди и приведи её сюда.

Гараська ушёл и через минуту возвратился в сопровождении княжны Рудницкой.

Она так была закутана платком, что Алексей Михайлович не мог догадаться, кто стоит перед ним. И только тогда, когда она скинула платок и в полумраке комнаты вырисовалось перед ним бледное личико княжны Анны, – он изумлённо вскрикнул и отступил назад...

Глава VIII. НА МЕЛЬНИЦЕ

Алексей Михайлович так был поражён появлением княжны Анны, что в первую минуту, казалось, потерял не только способность говорить, но даже и мыслить. Совершенно ошеломлённый этой неожиданностью, он несколько секунд стоял, не двигаясь с места, глядя на неё таким

изумлённым взглядом, словно перед ним стоял не живой человек, а какой-то загробный призрак.

Но наконец он кое-как справился с охватившим его волнением и воскликнул:

– Вы?! Вы, княжна?! Это вы?! У меня... здесь?!

Анна улыбнулась бледной, печальной улыбкой и промолвила:

– Вы изумлены, князь... Я пришла к вам...

Но он не дал ей закончить фразу и, быстро подойдя к ней, воскликнул:

– Да, правда, я изумился... Но в то же время я безмерно счастлив вашим приходом... Что бы ни привело вас, я буду всегда благословлять эту минуту. Садитесь, княжна, садитесь... Чем прикажете угощать вас?..

Анна покачала головой.

– Ничем, князь... Мне нужно сказать вам только несколько слов... Удалите вашего слугу...

Долгорукий быстро взглянул на Гараську, продолжавшего стоять у дверей, и крикнул:

– Ступай отсюда...

Гараська так быстро скрылся за дверью, что казалось, он не ушёл, а просто растаял в воздухе.

Алексей Михайлович подошёл к молодой девушке и хотел её взять за руку, но она не то испуганно, не то презрительно отодвинулась.

– Пойдите, князь, – сказала она. – Не думайте, если я пришла к вам в эту позднюю пору, то меня привело какое-нибудь тёплое чувство к вам. Вы сами своими поступками вырвали из моего сердца даже дружбу, которую я раньше всё-таки питала к вам...

– Но, княжна, – попробовал остановить её Долгорукий.

– Подождите. Дайте досказать, – продолжала Анна. – Когда исчез Бятынский, я тотчас же обвинила вас в этом исчезновении. Я знала, догадывалась, чувствовала, что вы его ненавидите. Я убеждена была, что если он пропал – то пропал благодаря вам... Я была уверена, что он убит, и считала вас виновником его гибели. Повторяю, я была уверена в этом и сама готовилась к смерти, потому что не в силах была пережить смерть

Васи. Но помните, вы приехали, вы захотели меня видеть, и до сих пор в ушах звучит радостная весть, которую сообщили вы. Вы сказали: Барятинский жив. И я поверила вашим словам, поверила сердцем, и эта уверенность спасла меня, может быть, от могилы, к которой я уже была близка. И теперь я нарочно пришла к вам, чтобы просить вас подтвердить ваши радостные для меня слова. Скажите мне... Заклинаю вас всем святым для вас!.. Скажите, правда ли это?

И она с невыразимой тревогой устремила свой пылающий взгляд на лицо Алексея Михайловича.

Но Долгорукий ответил не сразу.

В то мгновение, когда Алексей Михайлович увидел княжну Анну, радость его была так сильна, что он на минуту забыл все свои мстительные помыслы, что даже та жгучая страсть, которую он пылал всё время к молодой девушке, как бы стусевалась перед блаженством этого неожиданного свидания. Но стоило только княжне упомянуть, что она пришла совсем не ради него, что её привела только тревога за жизнь Барятинского, и тихое радостное чувство исчезло без следа, и Алексея Михайловича снова охватила прежняя непримиримая злоба, снова проснулась дикая страсть.

"Хорошо же, красавица, – подумал он, – если ты сама попала в мои руки, так теперь уж тебе не удастся вырваться из них!"

И, глядя прямо в глаза молодой княжны, он сказал:

– Да княжна, я говорил правду.

– Значит, Вася жив? – радостно воскликнула молодая девушка.

– Да княжна, жив.

– Значит, вы его не убивали?

Долгорукий печально улыбнулся и развёл руками.

– Вам наклеветали на меня, Анна Васильевна. Правда, я был зол на князя Барятинского, зол за то, что он оказался более счастливым в поисках вашей любви, чем я. Я ведь любил вас, Анна Васильевна... любил не меньше, чем Барятинский, и, понятно, мне тяжело было сознавать, что вы предпочли его мне! Правда, я хотел ему мстить, но когда он стал

вашим женихом, я примирился со своей судьбой, отнявшей вас у меня!..

Алексей Михайлович всё это сказал таким задушевым тоном, такая глубокая грусть и такие нежные нотки звучали в его голосе, что княжна Анна, несмотря на всё своё предубеждение, невольно поддалась обаянию этой задушевности и взглянула на Долгорукого уже не таким гневным взглядом, как прежде.

А Алексей Михайлович, заметив впечатление, произведённое на молодую девушку его словами, продолжал тем же задушевым тоном:

– Поверьте, княжна, что я глубоко сожалел о несчастье, постигшем вас, когда исчез князь Барятинский. Я совершенно случайно узнал, что он жив, и тотчас же поспешил сообщить это вам. Поверьте мне, что если бы я был виновен в его исчезновении, я никогда бы не стал извещать вас, что он жив.

– Да, да, правда! – прошептала Анна. – Спасибо вам, князь, спасибо! Простите меня, что я так дурно думала о вас.

Едва заметная усмешка, словно тень, пробежала по лицу Долгорукого, но Анна не заметила этой усмешки и, занятая тревожившим её вопросом, быстро спросила:

– Но где же он? Где?

– Кто? Василий Матвеевич? – переспросил Долгорукий.

– Ну да, конечно!

– О, он недалеко отсюда.

– Но он здоров? здоров?..

Долгорукий печально покачал головой.

– Нет, княжна, он болен, – сказал он. – Я не стану обманывать вас.

Анна Васильевна вздрогнула всем телом и пошатнулась. Она почувствовала, как смертельный холод проник в её сердце, как кровь точно заледенела в жилах, перед глазами замелькали кровавые точки. Ещё минута, – и она бы лишилась чувств. И только страшным усилием воли ей удалось побороть слабость, внезапно охватившую её.

– Что с ним? – едва смогла она прошептать дрожащим, прерывающимся голосом. – Что с ним такое? Ради Бога, скажите скорей!

- Успокойтесь, княжна! Кажется, ничего опасного нет.
- Но где он? Где он?
- Тут недалеко, за Крестовской заставой, на одной мельнице.
- Как он туда попал?

Долгорукий улыбнулся.

– Ну уж этого, простите, Анна Васильевна, я вам сказать не могу, я и сам не знаю.

– Но как же вы узнали?

– Совершенно случайно. На этой мельнице служит в засыпках наш оброчный холоп. Он был здесь и рассказывал в людской, как он со стариком мельником поднял на Троицкой дороге какого-то больного Преображенского офицера. Гараська передал этот рассказ мне. Я заинтересовался, поехал на эту мельницу и убедился, что этот офицер не кто иной, как ваш жених.

– Но как же вы не привезли его сюда?

– Простите, княжна, – мягко заметил Долгорукий. – Я не мог этого сделать уж хотя бы по одному тому, что, привези я его сюда, пошли бы непременно толки, что я виноват в его болезни.

– Но как вы его нашли? Чем он был болен?

– Он был тогда в беспамятстве; а чем он болен, – не умею вам сказать.

– Но теперь... теперь, – с замиранием сердца спросила Анна, – ему наверное лучше?

– Кажется, лучше.

Молодая девушка на минуту задумалась, опустив голову на грудь, потом быстро сказала:

– Князь, я буду вас просить... исполните, ради Бога мою просьбу...

– Всё, что угодно, княжна! Приказывайте, – я всё исполню.

– Вы говорите, что эта мельница недалеко отсюда?

– Близёхонько. Всего версты четыре за Крестовской заставой, не доезжая Алексеевского.

– Так вот что, князь... – Молодая девушка на минуту смутилась, замолчала, но потом точно собрала с духом и твёрдо сказала: –

Отвезите меня на эту мельницу, я хочу, непременно хочу видеть тотчас же Васю!..

Долгорукий даже растерялся от неожиданности этого предложения. Он и предполагать не мог, чтоб она сама так легко пошла в расставленную ей западню. Хотя он и наводил её на мысль об этой поездке, но ему казалось, что ему долго придётся уговаривать молодую девушку и что она не так-то легко попадётся в ловушку.

Но она сама шла навстречу его тайным желаниям, и Алексея Михайловича охватила такая неудержимая радость, что ему стоило громадных усилий сдержаться и не выдать себя.

– С большим удовольствием! – воскликнул он, – Я ваш покорный слуга, княжна, и сделаю всё, что вы прикажете!

И точно боясь, что молодая девушка может раздумать, он торопливо подошёл к двери и кликнул Герасима. Тот не замедлил явиться.

– Гараська! Беги сейчас на конюшню, – приказал ему Долгорукий, – и вели кучеру заложить в маленькие санки Булата!

– Сейчас, ваше сиятельство.

Гараська стрелой помчался на двор.

Всё благоприятствовало Алексею Михайловичу в этот вечер. Лошадь через несколько минут уже била ногами мёрзлый снег у ворот дома. Княжна Анна не раздумала и совершенно спокойно уселась в маленькие санки, вся охваченная страстным желанием поскорее увидеть своего ненаглядного Васю, даже не замечая, что они едут без кучера и что вожжи взял в руки сам Алексей Михайлович.

Да и раздумывать было уже поздно.

Долгорукий натянул вожжи, и горячая лошадь, подхватив лёгкие санки, помчала их стрелой, обдавая седоков снежной пылью. Не прошло и полчаса, как взмыленная лошадь уже остановилась у ворот Тихоновской мельницы.

Алексей Михайлович выскочил из саней и забарабанил в ворота. Громкий стук пробудил всю окрестность и гулким эхом отозвался где-то вдали. На этот раз ему отворили не так скоро, как в первый приезд. Он

принимался стучать раза три, пока наконец за забором не скрипнула дверь, и не послышался голос Никитки:

– Кто ещё там? Кого нелёгкая принесла?

– Отвори, Никита, это я, Долгорукий! – отозвался Алексей Михайлович.

– Сейчас, ваше сиятельство! – воскликнул Никитка, и вслед за тем до слуха Долгорукого донёлся скрип промёрзлого снега под его торопливыми шагами. Загремел тяжёлый замок, звякнул запор, и ворота распахнулись.

– Пожалуйста, ваше сиятельство! – возгласил Никитка. – Простите, Христа ради, что фонарь не захватил; больно уж поторопился.

Долгорукий схватил его за руку и; почти пригнувшись к его лицу, прошептал:

– Говори тише. Я не один. Старик здесь?

– Нетути. Завтра хозяйку ждём, так я его сплавил.

– А несчастненький где?

– В его каморке, под замком. Дрыхнет, поди, без задних ног.

– Ну ладно, – прошептал Алексей Михайлович и потом сказал громко: – Ну вот что, братец: ты бы за фонарём сходил. Тут у вас темень непроглядная, того и гляди, голову сломишь.

– Сейчас, батюшка князь!

И Никитка со всех ног бросился назад на мельницу, а через минуту вернулся с закопчённым фонарём, сквозь тусклые стёкла которого едва пробивались слабые лучи света.

– Пожалуйста, княжна! – обратился Долгорукий к Анне, помогая ей вылезти из саней.

И, поддерживая молодую девушку, он направился к мельнице, черневшей грозным призраком на тёмном фоне ночного неба.

Глава IX. В ПОРЫВЕ СТРАСТИ

Кроме маленькой каморки, служившей обиталищем старика Кондрата и в которой теперь находился Барятинский, на мельнице была ещё большая горница, предназначавшаяся в горячее время осеннего помола для

ночѣвки приезжих крестьян, привозивших на Тихоновскую мельницу своё зерно из очень дальних деревень.

Вот в эту-то горницу и ввёл понятливый Никитка князя Долгорукого и молодую княжну, и не подозревавшую, что она стала жертвой самой гнусной интриги.

Анна с удивлением оглянулась кругом.

Она была уверена, что Долгорукий проведёт её прямо к Барятинскому, и, не видя его здесь, в этой большой слабо освещённой оплывавшей сальной свечкой горнице, тёмные закопчённые стены которой как-то донельзя неприятно глядели на неё, – молодая девушка вздрогнула. Ей почему-то стало страшно.

До сих пор ни тени сомнения не возникало в её возбуждённом мозгу. Преобладала только одна мысль, – мысль о Барятинском, о том, насколько сильна его болезнь. Занятая этой мыслью, вся отдавшись ей, Анна не заметила неестественности рассказа Долгорукого и, вся охваченная мучительной тревогой за любимого человека, не рассуждая, бросилась сама в западню.

И только теперь, оглядываясь кругом и почувствовав какой-то неясный страх, который внушала ей эта горница, одна половина которой была занята столом, где мерцала свеча в железном шандале, а другая совсем потонула во мраке, – молодая девушка задумалась, и результатом этих дум явилось какое-то неясное подозрение.

"Боже мой! А что, если я обманулась в Долгоруком, – думала она. – Может быть, он выдумал всю эту сказку, чтобы завести меня в это страшное место... Ведь он любил меня... Говорит – любит до сих пор... Если он насильно хочет овладеть мною..."

Она опять нервно вздрогнула и оглянулась кругом. Долгорукого не было около неё. Он был на самой мельнице и шептался с Никиткой. Жутко стало княжне Анне.

Мрачная комната показалась ей ещё мрачнее. Мёртвая тишина, царившая вокруг, пугала её. Малейший шорох ветра в крыльях ветряка, каким-то слабым свистом доносившийся сюда, заставлял её вздрагивать

и как-то пугливо прижиматься к столу, около которого она стояла.

А неугомонные мысли продолжали шуметь в голове, продолжали рисовать самые безотрадные, самые удручающие картины.

– Господи, спаси меня! – шептала княжна, заламывая и чутко прислушиваясь к окружающей тишине. – И зачем только я поехала! Как я не сообразила того, что будь Вася действительно так близко от Москвы... от меня, он нашёл бы случай сообщить мне, что он жив... Ведь он любит меня, любит. Он знает, в какой страшной тревоге должна я была находиться всё это время... Его нет здесь... Меня обманули... меня завлекли в ловушку... Господи, спаси меня!

За дверью послышались шаги Долгорукого. Анна пугливо отшатнулась в сторону, и, когда он вошёл, на её сразу помертвевшем лице отразился такой ужас, что Алексей Михайлович тотчас же понял, что молодая девушка успела уже догадаться о его намерениях.

"Тем лучше, – холодно подумал он, – мне надоело играть комедию. Всё равно ей уж не уйти отсюда. Она должна быть моей..."

Но он всё-таки не хотел пугать её сразу.

– Раздевайтесь, княжна, – с ласковой улыбкой подходя к ней, сказал Долгорукий. – Здесь жарко, даже слишком жарко... А то вы ещё простудиться можете.

И он протянул руки, чтобы помочь ей снять бурнус. Но молодая девушка, заметив его движение, быстро отступила назад и дрожащим голосом воскликнула:

– Князь! Вы обманули меня! Васи нет здесь!

Алексей Михайлович язвительно расхохотался.

– Он здесь, моя красавица!..

– Вы лжёте! – продолжала княжна. – Вы лжёте! Вы бесчестно заманили меня в западню, воспользовавшись моей доверчивостью... Зачем вы это сделали?!

Долгорукий ещё сильнее расхохотался.

– А вы и не догадываетесь – зачем, моя ласточка! Затем, что я люблю вас...

И он опять протянул к ней руки.

Только сейчас осознала Анна всю опасность своего положения. Только сейчас поняла она, какую ужасную ошибку совершила, поехав сюда, на эту глухую, затерянную в поле мельницу, вместе с Долгоруким.

И её охватил такой страх, что она чуть не лишилась чувств. Но она поборолa подступавшую слабость; она придала на помощь всю силу воли и, глянув прямо в лицо нахально улыбавшегося Долгорукова лихорадочно загоревшимся взором, воскликнула:

– Какой же вы негодяй, князь! Насколько нужно быть бесчестным, чтобы заманить меня в такую подлую ловушку... О, как глубоко я вас ненавижу! Как страшно я вас презираю...

Долгорукий молча не сводил с её бледного личика, еле освещённого лучами мерцавшей свечки, своего пылавшего взора. Он чувствовал, как всё сильнее и сильнее закипает кровь в его жилах, как всё прерывистее начинает биться сердце... Он, казалось, позабыл в эту минуту весь мир, даже Барятинского, каморка которого была отделена тонкой перегородкой, – забыл всё, кроме своей страсти, кроме дикого желания во что бы то ни стало обладать этой хрупкой девушкой, с таким гневным презрительным видом стоявшей теперь перед ним.

В нём просыпался зверь, и что бы ни говорила княжна Анна, как бы ни молила его, как бы ни проклинала, – он не услышал бы ни мольбы, ни проклятий. Шум разгоревшейся крови заглушил бы всё это...

А молодая девушка продолжала, вся пылая негодованием, сама не понимая, что делается с нею, откуда берётся у неё эта энергия, поддерживающая её теперь, в эту ужасную минуту...

– Постыдитесь, – говорила она. – Прилично ли вам, князю Долгорукому, изображать простого разбойника... Да и разбойник бы не пошёл на такое дело, и тот бы сжалился надо мною! Неужели вы хуже разбойника?!

– Я люблю тебя, – прошептал Долгорукий.

– Какая же это любовь! Последний холоп – и тот любит иначе... И тот не станет злоупотреблять неопытностью и доверчивостью девушки.

– Я люблю тебя... – снова повторил Долгорукий и подвинулся к ней.

Лицо его побагровело, глаза налились кровью, и он так был страшен в это мгновение, что княжна невольно вскрикнула и закрыла лицо руками.

– Князь! – закричала она жалобным, каким-то детским голосом. – Князь! Молю вас! Пощадите меня! Я не сделала вам ничего дурного... За что вы, убив мою душу, хотите убить и тело?! Князь, ведь я не переживу своего позора...

– Я тебя люблю! – хрипло выкрикнул Алексей Михайлович. – Я тебя люблю... Ты должна быть моею... И ни мольбы, ни угрозы, ни сопротивление не спасут тебя от моих объятий... Это моя месть за то, что ты так презрительно оттолкнула меня; за то, что мне, князю Долгорукому, ты осмелилась предпочесть этого мальчишку Барятинского. Я всё это время жил безумной надеждой сделать тебя своей женой, – ты сама не захотела этого... За это ты будешь моей любовницей...

И он бросился к ней и схватил её за руки. Жаркое дыхание, со свистом вырывавшееся из его сухих воспалённых губ, обожгло лицо Анны...

В страшном испуге она вскрикнула, метнулась в сторону, хотела вырваться, но Долгорукий так крепко сжал её руки, что это усилие было бесполезно.

Алексей Михайлович приблизил свои губы к её губам и повторял, как безумный, только одну фразу;

– Я тебя люблю... я тебя люблю... я тебя люблю...

Смелая мысль мелькнула, как молния среди мрака, в голове молодой девушки.

– Князь! – отчаянно воскликнула она. – Опомнитесь! Пустите меня! Вы сами говорите, что Вася здесь... Хоть он и болен, но, услышав мой крик, он придёт, чтобы вырвать меня из ваших рук.

Эти слова на минуту как бы ошеломили Долгорукого; он даже выпустил из своих рук руки Анюты, но потом дико, злобно рассмеялся.

– Кричи! – сказал он. – Зови своего милого. Если он и придёт, то совсем не на радость для тебя.

– Так он здесь?!

– Здесь, здесь! Но не радуйся очень этому, моя прелесть...

– А, злодей! – воскликнула Анна. – Так ты убил его и хочешь надругаться над его трупом...

– Я его не убивал. Он жив, но всё равно что мёртв...

Страшная догадка поразила княжну.

– Жив, но... всё равно как мёртвый... – холодея от ужаса, прошептала она. – Так он., он...

– Он безумный! – торжествующе пояснил Долгорукий, и отвратительная улыбка пробежала по его лицу. – Теперь ты понимаешь, что я не боюсь его...

Княжна вскрикнула от острой боли, пронизавшей её сердце, и с глухим рыданием припала головой к столу.

А Долгорукий продолжал:

– Ты видишь, как я мщу... А ты ещё хотела идти против моей воли...

Он совершенно обезумел в эту минуту и, забывая, что его откровенность может убить молодую девушку, с ужасающим хладнокровием, исполненный мстительного чувства и страстного желания доставить бедной княжне мучительную боль своим рассказом, принялся передавать ей подробности адского замысла против Бярятинского, приведённого в исполнение Антропычем.

Он рассказал, как уговорился с Антропычем, как тот дал слово заманить Бярятинского в ловушку, как Василий Матвеевич попался в неё.

– Его, правда, спасли, – продолжал он свой ужасный рассказ, каждое слово которого точно ножом врезалось в сердце княжны Анны, точно огненными буквами горело перед её духовным взором, – его спасли, но только затем, чтоб убедиться, что он сошёл с ума. Если ты хочешь видеть его, я тебе его покажу потом... Он спит тут рядом, в камерке... Я не обманул тебя, сказав, что он жив. Он жив, но такая жизнь хуже смерти... Теперь он мне не опасен... Это бедный идиот, который даже и не узнает тебя, а только будет бессмысленно хлопать глазами и на твои отчаянные крики ответит глупым смехом.

Анна перестала рыдать. Слезы как-то сразу высохли на глазах. Она отошла от стола и бросила на Долгорукого взгляд, загоревшийся дикой

злой.

– Какой же вы негодяй! – воскликнула она. – Последний вор не так гадок, как вы...

Долгорукий расхохотался.

– И всё-таки это не мешает тебе целовать меня...

– Никогда! – словно отрезала молодая девушка. – Никогда! Я, правда, слабая девушка, но я задушу вас, если вы только приблизитесь ко мне!

– А вот увидим!

И Алексей Михайлович шагнул по направлению к княжне и хотел снова схватить её за руки.

Но молодая девушка, как кошка, вдруг бросилась на него и со всей силы вцепилась пальцами в его горло. Тяжело дыша, каждую минуту готовая потерять сознание, она сжала его глотку с такой силой, что он чуть сразу не задохнулся.

Но Долгорукий оправился, завязалась борьба, и молодой девушке, и без того потрясённой и обессиленной, пришлось уступить. Алексей Михайлович вырвался из её рук и в свою очередь схватил её за руки. Она дико, отчаянно вскрикнула:

– Вася! Милый! Спаси меня!

А Долгорукий, сжимая её в своих объятиях, отыскивал губами её губы и шептал:

– Зови... кричи... он и не услышит!

Но он ошибся.

За стеной раздался чей-то крик, потом стук, какой-то треск, точно хрустели доски под напором какой-то дикой силы.

Этот шум и треск заставили Долгорукого невольно оглянуться на дверь.

И вдруг он побледнел, вздрогнул и торопливо выпустил из своих объятий полубесчувственную молодую девушку.

На пороге стоял Барятинский, и глаза его в темноте горели, словно два раскалённые угля.

Прошло не больше минуты мёртвого, томительного молчания, но эта минута показалась целой вечностью и князю Долгорукому, и княжне Анне.

Молодая девушка, почувствовав себя на свободе, не сразу поняла, что такое случилось, и только проследив испуганный взор Алексея Михайловича, устремлённый на дверь, она уяснила наконец причину этой тревоги.

Увидав на пороге резко вырисовавшуюся на тёмном фоне фигуру Барятинского, она в первый момент как бы застыла от удивления. Она как бы не верила глазам; ей казалось всё это каким-то тяжёлым сном, фантомом расстроенного воображения, и она боялась пошевелинуться, чтобы не спугнуть этот призрак, так внезапно явившийся и могущий так же внезапно исчезнуть от одного её движения. Боялся пошевелинуться и Долгорукий. Он не потерял самообладания, но это появление Барятинского потрясло его до глубины души, испугало его так, как никогда ещё не пугался до сих пор. Он сразу понял, что его игра проиграна, что спастись от этого грозного мстителя будет невозможно, потому что это не здоровый человек, а сумасшедший, дикий зверь, вырвавшийся на волю. И, застыв от ужаса, он смотрел, широко раскрыв глаза, на неподвижную фигуру Барятинского точно очарованный, не смея двинуться с места, ожидая в смертельном страхе, когда тот бросится на него. Так обезоруженный охотник смотрит на раненого тигра, расвирепевшего от этой раны и готового сделать ужасный прыжок.

Барятинский ещё утром этого дня был в таком же бессознательном состоянии, как и всё время его пребывания на мельнице. Несмотря на все усилия Кондрата, его больной мозг был погружён в такие же потёмки; минута просветления не наступала, да и трудно было ждать, чтоб она когда-нибудь наступила. Когда Долгорукий и княжна Анна приехали на мельницу, он спал тяжёлым сном и вдруг как-то сразу проснулся от шума, долетевшего до него из-за стены. Он медленно встал с кровати и, ещё не соображая, не отдавая себе отчёта, просто заинтересованный этим внезапно пробудившим его шумом, стал прислушиваться к голосам,

звучавшим в смежной горнице. Сначала эти голоса сливались для него в какой-то неясный, непонятный шум. В его больном мозгу не получалось полного представления о том, кому принадлежат эти голоса, что означает этот шум. Он, как ребёнок, бессознательно слушающий гармоничное журчанье ручейка, прислушивался к этому шуму, – и вдруг вздрогнул, провёл рукой по лицу, словно отгоняя какую-то мысль, внезапно зародившуюся в его мозгу; тусклые глаза блеснули огоньком мысли. Он точно весь преобразился и быстро шагнул к двери. Внезапно явилось просветление. Отчаянный крик княжны Анны пробудил дремавший мозг. Он узнал её голос...

Так бывает порою в природе. Затянет озеро ряской, – и под её зелёным ковром заснёт это озеро мёртвым сном. Ничто не нарушит его покоя; ничто не прорвёт этого толстого ковра, мешающего лучам солнца пробудить заснувшее озеро. Но вдруг налетит буря. Резкий порыв ветра прорвёт заросли, – и снова всколыхнётся озёрная вода, и снова в ней задрожат золотыми блёстками лучи горячего солнца, проглянувшего из разорвавшихся туч.

Барятинского пробудил к сознательной жизни крик княжны Анны. Мозг стряхнул с себя тяжёлые оковы безумия и начал работать. Мысли вереницей понеслись в голове, – и Василий Матвеевич был спасён.

Он толкнулся в дверь, – она оказалась запертой. А между тем голоса за стеной продолжали звучать, и он теперь ясно различал не только голос Анны, но и голос Долгорукого. Сначала ему это показалось продолжением того страшного сна, каким считал он долгие месяцы своего сумасшествия. Но вдруг снова прозвучал отчаянный призыв:

– Вася! Милый! Спаси меня!

Это кричала она, его дорогая Анюта, и он уже не рассуждал более и, влекомый внезапно вспыхнувшим желанием объяснить себе, что значит этот крик, снова бросился к двери, навалился на неё всем своим телом и почти прорвал тонкие доски...

Мгновение, – и он был уже у двери большой горницы, где происходила отчаянная борьба между бедной девушкой и Алексеем Долгоруким.

Это зрелище для него было так неожиданно, так поразило его, что на мгновение словно какая-то тень снова набежала на его мозг. Он снова был близок к сумасшествию, – но это продолжалось только момент.

Точно луч внезапного света рассеял мрак, окружавший его всё это время. Он как-то сразу, более сердцем, чем умом, понял, зачем сюда попали Анна и Долгорукий, понял, что девушка попала в западню и погибла бы, если бы не счастливый случай.

В это самое время опомнилась и княжна Анна. Анна быстро бросилась к Барятинскому и обхватила его руками.

– Вася! родной! ты жив! – воскликнула она. – Спаси, спаси меня от этого злодея.

– Голубка! Как ты попала сюда? – быстро спросил Василий Матвеевич.

– Это он, Долгорукий, завёз меня сюда...

Барятинский отстранил её от себя и шагнул к Долгорукому.

– Так вот как, князь Алексей Михайлович! – крикнул он, – какими ты делами стал заниматься... Не пришлось мне с тобою расчёты покончить в тот раз, теперь ты не уйдёшь от меня.

И он бросился на трусливо дрожавшего Долгорукого и схватил его за горло.

Алексей Михайлович попробовал было сопротивляться, попробовал было вырваться из железных тисков, какими сжал его Барятинский, но борьба была бесполезна. Прошло несколько мгновений, – Долгорукий захрипел, бессильно взмахнул руками и тяжело, всем телом опустился вниз.

Барятинский разжал руки, и Алексей Михайлович безжизненным трупом рухнул на пол. Для него было всё кончено.

В это самое время звон колокольцев подъехавшей тройки и громкий стук в ворота нарушил мёртвенную тишину. Никитка, ещё не знавший об ужасной драме, разыгравшейся в горнице, хотя и слышавший крики, доносившиеся оттуда, но не придававший им ни малейшего значения, теперь, заслыша этот стук и звон бубенцов, быстро вскочил со своего незатейливого ложа.

– Батюшки! Вот не вовремя-то! – воскликнул он. – Никак, это хозяйка!

И он со всех ног бросился предупредить Долгорукого. Но каковы же были его удивление и ужас, когда при слабом свете еле мерцавшей свечки он увидел Долгорукого распостёртым на полу, а княжну Анну и "несчастненького", ещё недавно бывшего под замком, – в объятиях друг друга.

– Батюшки! – завопил он, всплеснув руками, – что тут такое вышло! Никак, сумасшедший убил князеньку-то! Ты что это, разбойник, наделал?! – набросился он на Барятинского.

Тот изумлённо взглянул на Никитку и, конечно, не узнал его.

– Что тебе нужно, холоп? – резко спросил он у него. – Или и ты был в заговоре с этим злодеем?

Никитка опешил и от этого властного тона, и от взгляда, который бросил на него "несчастненький", но потом снова пришёл в себя и опять закричал:

– Да ты чего это? Убивство совершил да ещё гордыбачить! Вот погоди ужо...

Но ему не удалось докончить. Громоподобный стук в ворота повторился, да и Барятинский так грозно посмотрел на него, что он опрометью бросился во двор, чтобы найти защиту от разбушевавшегося "несчастненького" у хозяйки и её спутника.

Дрожащими руками отпер он замок и распахнул ворота.

– Это ты чего же, дурень, морозиться-то нас заставляешь, – встретила Никитку Ольга Тихоновна, вылезая из кибитки.

– Матушка хозяйюшка!.. – заныл Никитка. – Горе у нас случилось!

– Какое горе? Что такое? – в один голос спросили и Ольга, и Сенявин, с которым она приехала на мельницу.

– Убивство у нас. Несчастненький князеньку зарезал.

Он и забыл, что Ольга Тихоновна ни малейшего понятия не имела ни о больном, так долго жившем на мельнице, ни о князе Долгоруком, приехавшем сюда, чтобы найти здесь свою смерть. Единственное, что она поняла из его слов, что Никитка пьян и ему с пьяных глаз что-то померещилось.

– Да ты чего ж это, скотина, – накинулась Ольга на парня, – напился-то до бесчувствия!

– Что вы, хозяйюшка! – возразил Никитка. – У меня во рту и маковой росинки не было!

– Так чего ж ты, дурень, такую несуразицу мелешь?

– Ничего я не мелю!

И Никитка уже хотел было пуститься в объяснения таинственного происшествия, но потом только отчаянно махнул рукой и вместо всяких объяснений сказал:

– Да пожалуйста сами! Всё сами, как есть, и увидите. И несчастенького, и князеньку. Пласт пластом лежит и не дыхнёт.

Ольга Тихоновна удивлённо поглядела на Сенявина. Сенявин ответил ей таким же изумлённым взглядом и сказал в свою очередь:

– Как видно, малый-то не совсем пьян. И впрямь, кажись, что-то неладное случилось. Надо пойти посмотреть. – И он твёрдым шагом направился через двор к двери, ведшей на мельницу. За ним следом пошли и Ольга Тихоновна, и Никитка, и даже работник, правивший тройкой.

Никитка, ожидавший, что хозяйкин офицер тотчас же велит связать "несчастенького", был страшно изумлён, когда Сенявин, войдя в горницу и увидев Барятинского, сначала отшатнулся изумлённо, а потом с радостным криком бросился к своему другу и сжал его в объятиях.

– Вася! милый! Так ты жив?!

– Как видишь, жив.

– Да где ж ты пропадал столько времени? Откуда ты здесь взялся?

– Право, не знаю, – грустно ответил Барятинский. – Мне кажется, что я спал очень долгое время и только сейчас проснулся.

– Батюшки! – воскликнул опять Сенявин, разглядев княжну Рудницкую, – и вы здесь, княжна?! Значит, вы сюда вместе с Васей приехали?

Молодая девушка, которая всё ещё не могла оправиться от испуга и изумления, которая до глубины души была потрясена только что

разыгравшейся сценой, только сейчас, с появлением Сенявина, казалось, немного пришла в себя, точно очнулась от ужасного кошмара.

Последние слова Сенявина долетели до её слуха и пробудили тревожный вопрос: что же в действительности всё это значит?

Она тихо покачала головой и медленно проговорила:

– Нет, я не с Васей приехала сюда. Меня сюда завёз Долгорукий.

– Долгорукий! – воскликнул Сенявин.

– Да. Он меня уверил, что Вася находится здесь, и хотел обесчестить меня, воспользовавшись моей доверчивостью. Но как Вася попал сюда, – я не знаю!

Сенявин развёл руками и удивлённо оглянулся крутом. Вдруг взгляд его упал на труп Долгорукого. Он быстро подошёл к нему и нагнулся.

– Долгорукий! – воскликнул он. – Ты убил его, Вася?!

– Да, я его убил.

– Но откуда же ты взялся? – недоумевая, спросил опять Сенявин.

Барятинский задумался на минуту, потом провёл рукой по лицу и тихо прошептал:

– Не знаю, ничего не знаю... Мне всё ещё кажется, что я сплю. Я словно сквозь сон припоминаю, что меня завёл куда-то какой-то старик. Меня ударили, и я как будто сразу погрузился в беспросветную мглу. Потом мне помнится какими-то смутными обрывками мельница, какой-то двор, мешки с мукой... Всё это как будто было во сне. Окончательно проснулся я, услышав крик Анюты. Я бросился на этот крик и застал её здесь с Долгоруким. И я убил его... Но как я попал сюда, как сон перешёл в действительность, – я ровно ничего не знаю и понять совершенно не могу.

– Постой! – вдруг спохватился Сенявин и, позвав Никитку, спросил его:

– Ты кого называл "несчастненьким"?

– Да вот их, – пробормотал совершенно растерявшийся парень, показав на Барятинского.

– Да откуда ж ты его знаешь? Почему ты его так назвал?

– Помилуйте, как же не знать! Чай, они здесь у нас на мельнице больше

полгода жили.

И на вопросы Сенявина он рассказал, каким образом нашёл Бярятинского Кондрат, как он его лечил, как Бярятинский после выздоровления оказался сумасшедшим, одним словом – всё-всё, до событий сегодняшней ночи, до приезда Долгорукого с княжной Анной.

Он ещё хотел что-то сказать, но Бярятинский перебил его, воскликнув: – Так, значит, этот долгий сон был не чем иным, как безумием. И если бы не ты, Анюта, если бы не твой крик, – я бы и до сих пор был сумасшедшим. Ты вернула меня к жизни. Господи! Благодарю Тебя, что Ты вернул мне рассудок, вернул мне мою дорогую, мою ненаглядную Анюту!

И, обняв молодую княжну, глаза которой были полны радостных слёз, он прижался к её губам долгим поцелуем.

Глава XI. ПЕРЕПОЛОХ

Скрыть смерть Алексея Михайловича было невозможно, да Бярятинский и не хотел её скрывать. Убийство Долгорукого он не считал грехом. Он убил его не только как своего соперника, а как злодея, причинившего своей подлой мстительностью массу мучений и ему и княжне Рудницкой; Это убийство было мезтью, такую же беспощадной, как беспощадно мстил Долгорукий Бярятинскому. Весть о том, что Алексей Михайлович убит, быстро разнеслась по Москве, – но Долгоруких в частности, а Алексея в особенности так не любили, что эта весть не произвела ни на кого потрясающего действия. Напротив, многие даже обрадовались как будто несчастью в семье Долгоруких, и если не смели высказывать эту радость явно, то в душе торжествовали, что Бог наконец покарал временщиков за их гордыню и заносчивость.

И беда, свалившаяся на Михаила Владимировича Долгорукого, когда к нему привезли бездыханное тело его сына, пришла не одна. В городе давно уже ходили тревожные толки о проявляющейся по временам немилости юного царя к Долгоруким. Эти толки росли с каждым днём, а тут ещё подоспела серьёзная болезнь, свалившая императора в постель,

и стали поговаривать, что болезнь настолько опасна, что вряд ли император встанет.

Наверное никто не знал, что это за болезнь, потому что из-за толстых стен Лефортовского дворца, где в жару метался юный царь, правду об его недуге не допускали до ушей встревоженной Москвы. Кроме Долгоруких да медиков, безотлучно проводивших вместе с Блументростом почти целые дни у постели царственного больного, никто и не догадывался, что этот страшный недуг – не что иное, как оспа.

И в то самое время, когда москвичи, ещё не ведая опасности, строили предположения о том, удержатся или нет Долгорукие, когда император встанет, в Лефортовском дворце все были в ужасной тревоге. Блументрост, долго и упорно отмалчивавшийся на тревожные вопросы Алексея Григорьевича, наконец ответил, и ответил такой ужасной фразой, от которой у Алексея Долгорукого кровь застыла в жилах, а Иван разрыдался самым неутешным образом. Это было вечером семнадцатого января, как раз на другой день после того, как на Тихоновском ветряке разыгралась потрясающая драма, закончился кровавый расчёт между Барятинским и Долгоруким.

Утром ещё юному царю было гораздо лучше. Оспенные язвы стали было подсыхать, жар уменьшился, прошло беспамятство, в которое по временам впадал больной. Лица и медиков и Долгоруких просияли; только Блументрост не сиял, не радовался, а словно казался чем-то озабоченным и удручённым, словно казался недовольным таким заметным улучшением в положении царственного больного. Его унылый вид представлял такой разительный контраст с радостными лицами окружающих, что Алексей Долгорукий не выдержал и заметил ему:

– Что это ты, Иван Готлибович, таким филином смотришь?

Блументрост пожал плечами и промычал:

– Нет... Я ничего...

– То-то, что не ничего, а как будто ты чего-то боишься? – допытывался Алексей Григорьевич. – Аль царю-батюшке хуже может стать?

Блументрост опять пожал плечами.

– Кто знает... Никто не знает, – уклончиво ответил он. – Всё, как Бог хочет... Всё он...

И больше ничего, кроме этой неопределённой, ничего не выражающей фразы, не добился от него Долгорукий. Но беспокойный, расстроенный вид Блуменроста вскоре объяснился. К закату солнца началась лихорадка, усиливавшаяся чуть не с каждой минутой; царь опять впал в беспамятство, а часам к восьми вечера все опять приуныли. Ровно в девять часов Блуменрост вышел из царской спальни в смежную залу, где с нетерпением дожидались его Алексей и Иван Долгорукие.

Лицо его было совершенно бесстрастно, на нём не было и следа той озабоченности, которая сквозила раньше, и только на ресницах заметны были слезинки.

– Ну что? – бросился к нему Алексей Григорьевич.

Блуменрост покачал головой и развёл руки.

Один этот жест уже не предвещал ничего доброго.

У Ивана Алексеевича захолонуло сердце. Но Алексей Долгорукий или не понял, или не хотел понять, что всё уже кончено, что надеяться уже не на что. И ещё настойчивее он повторил вопрос:

– Ну что? Да говори ты, Бога ради!..

– Плох, – односложно отозвался Блуменрост.

– Хуже его величеству?

– Совсем плох, – повторил немец, – Бог не хочет... Его святая воля...

– Неужто?!

Алексей Григорьевич наконец уразумел страшную истину и не мог даже докончить своего вопроса.

Блуменрост опять развёл руками.

– Сегодня умирает, – печально сказал он. – Ночь не доживёт.

Тяжёлый вздох вырвался из побелевших губ Алексея Долгорукого. Он, шатаясь как пьяный, отошёл от Блуменроста к ближайшему креслу, тяжело опустился на мягкое сиденье и глубоко задумался.

Этого он не предвидел, когда с такой настойчивостью приводил в исполнение свои честолюбивые замыслы. Этот удар был так неожидан,

что его тяжесть совсем ошеломила его.

Судьба жестоко посмеялась над ним. Всё так было хорошо рассчитано, всё было предусмотрено, – и вдруг простая случайность поколебала почву, под его ногами разверзлась пропасть, в которую он не может не упасть.

Алексею Григорьевичу совершенно случайно вспомнилась одна сцена, на которую он не обратил никакого внимания, но которая как-то невольно запечатлелась в памяти, словно нарочно для того, чтобы воскреснуть теперь, в эту минуту. Это было на масленичном гулянье под Кремлёвской стеной, у Тайницкой башни. Его внимание привлекла толпа, особенно сгустившаяся на одном месте. Здесь какой-то парень взбирался по смазанному салом столбу до вершины, на которой красовалась пара валенок. Толпа гикала, кричала, насмешничала, но парень упорно, преодолевая все затруднения, как кошка, медленно вползал кверху. Вот уж он почти наверху, вот он протянул руку за валенками, достал их, но в это время какой-то стриж пронёсся над его головой так близко, что парень вздрогнул, инстинктивно взмахнул рукой – и этим погубил всё. Как на салазках скатился он по столбу вниз, прямо в эту толпу, встретившую его гулким взрывом хохота, целым градом самых оскорбительных насмешек.

Тогда Алексей Григорьевич тоже улыбнулся, пожал плечами и прошептал:

– Вот дурак-то!..

А между тем парень был неповинен. Всё дело испортила простая случайность, такая же, как теперь встретилась на его пути. И Долгорукий невольно сравнил себя с этим парнем.

Ведь и он так же упорно карабкался по скользкому шесту придворного фавора, и он был почти на его вершине, – и вдруг грохнулся вниз...

А сколько надежд возлагал он на грядущие дни, с какой честолюбивой радостью мечтал он о том времени, когда его дочь станет императрицей, а он будет царским тестем. Сколько раз он думал:

"Ничего нет невозможного – надо только умненько дела обделывать. Мне

всё Данилыча в нос тычут. Важная-де персона был, а захотел царским тестем быть – и полетел вверх тормашками. Всё это глупости! Мне Данилыч не указ. Данилыч полетел – а я не полечу, потому он дураком себя вёл, а я тонко да умненько всю эту штуку построил..."

Но как ни тонко, как ни умненько было всё построено, – в результате получилось одно и то же. Судьба шутила злую шутку, жестоко наказав его за его гордость, высокомерие и честолюбие.

И он печально поник седой головой, и две крупные слёзы скатились по его как-то сразу осунувшимся щекам...

В это время к нему подошёл Иван.

– Что же нам теперь делать, батюшка? – спросил он глухим, вздрагивавшим и прерывавшимся от сдерживаемых рыданий голосом.

Алексей Григорьевич взглянул на сына тусклыми глазами и уныло покачал головой.

– Не знаю... право, не знаю, – прошептал он.

– Нужно будет за Катей съездить.

– Зачем?

– Пусть простится...

Горькая улыбка пробежала по губам старика. Он махнул рукой.

– Не надо... Да она и не поедет.

На минуту воцарилось молчание. Алексей Григорьевич, тяжело вздыхая, думал свою крепкую думу, а Иван полными слёз глазами глядел на запертую дверь царской спальни, где медленно угасала жизнь товарища его детских игр, его юношеских забав, которого он любил всем сердцем, любил не потому, что этот товарищ был императором, не из-за честолюбивых расчётов, а потому что его сердце было переполнено к нему истинною бескорыстной любовью. И чем больше глядел он, тем тяжелее становилось у него на душе, тем горячее казались слёзы, одна за другой сбегавшие с ресниц, – слёзы истинного горя и неподдельной печали...

Ивана не потому ужасала безвременная смерть юного царя, что она разрушала честолюбивые замыслы его семьи. Нет, эта замыслы были у

него на втором плане. Ему просто тяжело было сознавать, что юноша-император, ещё не успевший даже насладиться жизнью, через несколько часов станет холодным трупом, который скроет навеки могильная насыпь.

Его горе было настолько велико, что он пожертвовал бы решительно всем, и своим богатством, и своим высоким положением, если бы только можно спасти его жизнь.

Но спасти было нельзя. Он ничем не мог помочь ему, он мог только плакать.

В соседней зале раздались чьи-то торопливые шаги, гулко отдававшиеся в мертвенной тишине, стоявшей кругом. Иван вздрогнул и перевёл свой взгляд на дверь той залы, откуда слышались эти шаги.

Туда же взглянул и Алексей Григорьевич, и когда на пороге показалась хилая, дряблая фигура его двоюродного брата Михаила Владимировича, он недовольно пожал плечами и снова опустил голову.

А тот, взволнованный и возбуждённый, прямо подбежал к нему.

– Алёша. Я к тебе по важному делу! – воскликнул он.

– Тише! – грубо оборвал его Алексей Григорьевич, – Государь умирает...

Это сообщение для Михаила Владимировича было так неожиданно, что он даже отшатнулся и расширил от удивления свои маленькие, слезившиеся глазки.

– Да ну! – прошептал он.

– Вот тебе и ну! – раздражённо отозвался Алексей. – Спета наша песенка.

Михаил Владимирович совсем растерялся.

– Как же это так, – опять прошептал он. – А я-то хотел...

Алексей быстро поднял голову и насмешливо, в упор взглянул на брата.

– Чего ты хотел? – быстро произнёс он. – Новых милостей? – и прибавил, качая головой: – Ныне поздно.

– Да не то, не то, – почти простонал его собеседник. – У меня горе, большое горе...

– Что ещё такое? – уныло спросил фаворит царя, которому теперь

всякое горе было уже нипочём после этого страшного удара.

– Случилась неслыханная вещь... – глухо ответил Михаил Владимирович, – Алёшу убил Барятинский...

Алексей даже привскочил с места.

– Это покойник-то! Да ты с ума сошёл!

– Какой покойник! – отчаянно махнул рукою Михаил Владимирович. – Он живёхонек... До поры скрывался.

Горькая улыбка исказила гримасой лицо Алексея.

– А теперь и объявился. Выждал, пока гром над Долгорукими грянет, и сам нагрязнул. Видно, такова воля Божья, – раздумчиво закончил он.

– Что же мне делать? – простонал Михаил.

– Не знаю... ничего не знаю...

– Арестовать-то его можно?.. да суд нарядить?

– Коли убийство совершил – вестимо можно... – как-то нехотя ответил Алексей Григорьевич, занятый собственными безотрадными грёзами...

Вдруг он вздрогнул. Дикая, но смелая мысль мелькнула, как молния, в его голове. Он быстро встал с кресла и резво схватил за руку ошеломлённого, ничего не понимавшего брата и потащил его в противоположный конец комнаты...

Глава XII. ПРЕДЕРЗОСТНЫЙ ЗАМЫСЕЛ

Отведя брата с самым таинственным видом в один из дальних углов залы, Алексей Григорьевич тяжело опустился на стоявший тут диван и, показав рукой на ближайшее кресло, сказал:

– Садись. Нам поговорить надо.

Михаил Владимирович молча уселся, совершенно не понимая, что творится с царским фаворитом, о чём он хочет говорить с ним в такие минуты, когда ни ему, ни Алексею Григорьевичу совсем не до разговоров, недоумевая особенно потому, что до сих пор Алексей как-то всегда пренебрегал его советами и никогда не позволял себе вступать с ним ни в какие интимные разговоры.

Алексей Григорьевич Долгорукий скользнул пытливым подозрительным

взглядом по лицу брата, сидевшего в неподвижной позе с застывшим в глазах недоумением, и затем заговорил таким низким шёпотом, что Михаил должен был, чтоб расслышать, вплотную придвинуться к нему.

– Слушай, Михайло, – начал он, – поклянись мне, что не выдашь меня... не изменишь мне...

Михаил Владимирович вздрогнул от неожиданности этих загадочных слов и испуганно заморгал своими слезящимися глазками...

– Что ты, Алёша, Господь с тобою! – забормотал он.

– Нет, ты поклянись, – настаивал Алексей Григорьевич, – важное, потайное дело я тебе поведать хочу...

– Да клянусь, чем хочешь, поклянусь. Неужто я супротив тебя пойду, – прошептал взволнованно Михаил Владимирович, – чай, мы за тобой как за стеной каменной.

Алексей Долгорукий вздохнул.

– Плоха ваша каменная стена стала, – грустно сказал он. – Умрёт батюшка государь, – и всем нам, может, костью лечь придётся; на плаху свою голову снести... Врагов-то у нас, почитай, вся Русь-матушка. А есть ещё зацепка, можно ещё удержаться, – да не знаю, как к тому делу приступить...

Он замолчал и зорко взглянул на побледневшее от его страшных слов и безотрадного тона лицо брата.

– А что? – встрепенулся Михаил Владимирович, – что такое?

– Опасливое дело.

– Да что?! Ты скажи...

– И то, скажу. Слушай. Все мы смертны, все под Богом ходим. Конечно, коли смерть пришла, не попросишь – отпусти-де на час. Так и тут. Вся штука в том, что рано сия болесть у государя приключилась... Ведь через неделю венчанье было порешено. Ну а повенчайся он с Катей, в те поры другой бы разговор пошёл. Так я говорю?

– Так, так, – поспешил подтвердить Михаил, не понимая ещё, однако, к чему старший брат клонит свою замысловатую речь.

А Алексей между тем продолжал, всё более и более понижая голос:

– Стало, всё дело во времени. А коли так рассуждать, всем вам – и тебе, и Василью, и верховникам, и господам Сенату ведомо, что такова была воля государя-батюшки... Что кабы не болеть эта лихая, повенчался бы он с Катей неукоснительно. Потому сильно её любил и таково у него желание было. Верно аль нет?

– Верно, верно.

– Ну так, по мне, кажись, нам против царской воли идти не след, а надоть его волю в точности исполнить...

Михаил Владимирович наконец понял, и радостная усмешка пробежала по его сухим бескровным губам.

– А, вот это хорошо! – шёпотом воскликнул он. – Это ладно придумано!

Лицо Алексея Григорьевича сразу оживилось.

– Так, значит, так можно сделать?

– Не только можно, прямо – следует.

– Вот и я так думаю, – промолвил Алексей Григорьевич. – Потому всё едино бы было, если бы государь был жив. Да и нам спастись след, – прибавил он ещё тише, – что там ни толкуй, а нас съедят, коли мы сами зубы не покажем. Теперь все встанут: и Голицыны, и Ягужинский, и Остерман... Надо их всех сократить, а без этого и думать неча...

– Верно, верно, одно спасенье, – поддакнул Михаил Владимирович.

– Только вот что, – раздумчиво произнёс старший Долгорукий, – а вдруг венчать не станут?

– Глупости! – хихикнул младший. – Как так не станут... Я сейчас попа притащу от Николы. Ты ему прикажи, нешто он посмеет ослушаться...

– И то верно, – согласился Алексей Григорьевич. – Так ты не мешкай, Михайло, – прибавил он, поднимаясь с дивана, – мешкать ноне нечего... Как раз всё провороним...

Но Михайло медлил встать.

– Чего ж ты сидишь? – спросил Алексей.

– А не всё ещё сговорено, – хитро улыбаясь, ответил тот. – Слушай, братец, я твою тайну не выдам и помогать буду, только и ты мне помоги.

– В чём это?

– А чтоб убийца-то Алёшина прибрать, как след.

Алексей досадливо махнул рукой.

– В такое-то время и ты о каких-то пустяках толкуешь!

Глаза Михаила Владимировича злобно сверкнули.

– Для тебя пустяки, – резко проговорил он, – а для меня нет... Чай, он мне не чужой, а плоть и кровь моя... Хороши пустяки.

– Да не о том я, – мягко заметил Алексей, испугавшись озлобления брата, которое вызвал своими необдуманными словами и которое всё могло испортить. – Совсем я не о том. Аль ты не знаешь, что за мной всё равно твоя послуга не пропадёт. Только дело обделай...

– Да я-то сделаю, а ты мне всё ж обещаешь накрепко, что Бярятинского мне головой выдашь...

– Да, конечно, выдам, конечно, – поспешил уверить брата Алексей. – Не мешкай ты только, Христа ради... Поезжай поскорей да дело-то сделай... Поезжай. Надо поторапливаться.

– Ладно. Сделаю.

И Михаил Владимирович уехал, а к отцу подошёл Иван.

– Батюшка, – сказал он, – надо бы господ сенаторов оповестить.

– О чём ещё?

– Что государь умирает. Совсем ему плохо: без памяти лежит.

– Без памяти! – встрепенулся Алексей Григорьевич. – Слушай, Ванюша, не Сенат оповещать надо; Сенат и опосля узнает, ничего дурного не будет. А поезжай-ка ты лучше за Катей...

– За Катей?! – удивился Иван. – Вы же не хотели...

– Мало ль что не хотел, а ноне передумал... Поезжай, да поторапливайся.

Иван Алексеевич пристально поглядел на отца, но промолчал и торопливо направился к дверям.

"Ну что-то будет, – задумался Алексей Долгорукий. – Большое дело я замыслил, как бы не сорвалось. Одно из двух: или у трона вплотную стану, либо голову на плаху понесу... А выбирать не из чего. Так ли, этак ли, а коли придётся погибать, – всё равно погибнешь... А может, ещё и

удастся выкарабкаться".

Тишина, стоявшая кругом, мёртвая, ничем не нарушаемая тишина, тоже удручающе действовала на его приподнятые, совершенно развинченные нервы. Эта тишина даже пугала его. Он то и дело подбегал к дверям царской спальни, с замиранием сердца прислушиваясь к малейшему шороху за дверями. Ему всё казалось, что вот дверь распахнётся, выйдет Блуменрост и, понуро опустив голову, скажет:

– Всё кончено...

И когда действительно дверь с лёгким скрипом отворилась и в её прорезе показалась сухая длинная фигура царского лейб-медика, Алексей Григорьевич даже похолодел от ужаса, зашатался и едва удержался на ногах.

"Неужели мы опоздали?! Неужели всё уже кончено?!" – как молния прорезала его разгорячённый мозг ужасная мысль.

А когда Блуменрост подошёл к нему, он даже испуганно шатнулся в сторону и зажмурил глаза.

Но Блуменрост не заметил этого испуганного движения. Он медленно проговорил:

– Совсем плохо. Никакой надежды нет.

Точно гора свалилась с плеч Алексея Григорьевича. Тяжёлый вздох вырвался из его груди.

– Так он ещё жив?! – спросил он.

– Пока – да. А вы, lieber Furst, послали известить Верховный совет и Сенат?

Оповещать верховников не входило в расчёты Алексея Долгорукого. Напротив, чем меньше будет свидетелей при задуманном венчанье, тем лучше. Когда всё будет покончено, тогда не помешают. И конечно, он и не думал посылать гонцов с вестью о близкой кончине царя, но, не задумываясь ни на секунду, он поспешил ответить:

– Да-да. Конечно, оповестил. Должно, все сюда скоро соберутся...

Говоря это, он в то же время думал, устремив тревожный взгляд на дверь, в которую должна была войти Катя:

"Что же это, однако? Их ещё нет! Господи! Так и с ума сойти можно".

Но вот до его напряжённого слуха долетел лёгкий шум, раздавшийся в соседней горнице, слышались шаги. Он быстро отбежал от Блументроста и на пороге как раз лицом к лицу встретился с княжной Екатериной.

– Слава Богу, – прошептал он, – значит, не всё ещё потеряно.

Глава XIII. СПАСИТЕЛЬ

Принцесса Елизавета Петровна в тот день, когда старый князь Барятинский отправился к ней, находилась в большой тревоге. Для неё уже не составляла тайны предстоявшая кончина её царственного племянника. Если это тщательно скрывали от всех, то не могли скрыть от неё. Блументрост, очень много обязанный принцессе Елизавете, чуть не каждый день извещал её о ходе опасной болезни юного царя, а когда всякая надежда была потеряна, когда старик убедился, что все его научные познания, вся его опытность бессильны в борьбе со страшной болезнью, жертвой которой сделался Пётр II, – он написал ей коротенькую записку, в которой только и стояло: "Надежды нет, царь умирает..."

– Надежды нет, царь умирает, – в раздумье повторила вслух Елизавета и вздрогнула. Эти слова прозвучали в её ушах отголоском мрачного погребального звона.

Да и в действительности, разве они не были предвестником этого погребального звона, который, может быть, ещё сегодня, может быть, всего через какой-нибудь час наполнит воздух печальными, унылыми звуками, извещая всю Москву о кончине юного внука Великого Петра...

Принцесса Елизавета очень любила племянника. При мысли о том, что её "милый, славный мальчик Петруша" через несколько часов превратится в холодный, бездыханный труп, – у неё замирало сердце и выступали слёзы на глазах. Но ещё сильнее замирало её сердце, когда она раздумывалась, что принесёт ей лично смерть Петра II, как отзовется она на её собственном положении.

Если Долгорукие захватят власть в свои руки – чего Елизавета Петровна вполне могла опасаться – нечего и говорить, её положение значительно ухудшится. Долгорукие никогда не были её друзьями, а в последнее время стали даже врагами. Алексей никогда не простит ей противодействия его задушевным планам, – противодействия, которое она оказывала при малейшей возможности; Иван Долгорукий никогда не забудет того пренебрежительного отказа, каким она ответила на его предложение.

Правда, он скоро утешился. Не прошло и месяца после того, как он уж обвенчался с Шереметевой, но что он не забыл ничего, – за это ручались его злобные взгляды, какими он награждал Елизавету Петровну в последние встречи, несмотря на сравнительную мягкость своего характера.

И вдруг Долгорукие останутся у кормила правления?

Эта мысль, молнией скользнувшая в её голове, заставила её даже похолодеть... Что тогда ждёт её? Одно из двух – или ссылка, или монашеская келья. Она слишком опасна для них, чтоб они оставили её в покое. Она дочь Великого Петра: ей по праву принадлежит престол, уж и теперь многие и многие, – когда стало известно, что болезнь царя опасна, – стали называть Елизавету законном преемницей племянника.

И Долгорукие знают это и поэтому, конечно, постараются не только удалить её от трона, но и совершение лишить возможности мечтать об императорской короне...

– Мечтать, – вслух подумала она. – А я иногда мечтала...

Но теперь было не до мечтаний. Теперь предстояло позаботиться о личной безопасности, и позаботиться тем скорее, что настроение было слишком тревожно, предвестники грядущего далеко не благоприятны. Ещё сегодня утром Елизавета Петровна убедилась в этом. Она попыталась проникнуть в Лефортовский дворец, хотела взглянуть на больного племянника, но Долгорукие не допустили до этого.

Хотя и очень любезно, но достаточно настойчиво, чтобы дать почувствовать решительный отказ, Алексей Григорьевич ответил

Елизавете:

– Простите, ваше высочество! Не могу допустить... Его величеству спокойствие надобно. Как бы его это не растревожило.

– Но я только взгляну, – попробовала возразить Елизавета. – Взглядом я его ведь не потревожу...

– Не могу-с! – решительно ответил Долгорукий. – Что хотите, – не могу. Хоть гневайтесь, хоть казните... Вот полегчает ему – тогда милости просим, и слова не осмелюсь вымолвить. А ноне невозможно.

Елизавета Петровна пожала плечами, презрительно взглянула на Алексея Григорьевича и, даже не простившись, уехала. Но в то же время она поняла, что Долгорукие на что-то рассчитывают, что они сознают свою силу, если её, тётку императора, принцессу императорской фамилии, не допустили даже проститься с умирающим царём. Значит, с ними ещё нужно считаться; значит, ещё нужно опасаться их злобной мстительности и приготовиться ко всему...

"Но что же делать? Что? – задала себе мысленно вопрос Елизавета. – Не бежать же, в самом деле!"

И против её воли на её пухлых губах скользнула улыбка.

"Нет, – решила она. – Будь что будет. Одна надежда на Господа Бога. Поручаю Ему свою судьбу и жду только от Него помощи и защиты..."

И это решение как-то значительно облегчило её. Так что когда приехал старик Барятинский, она встретила его с обычной весёлой усмешкой.

Иван Фёдорович был любимцем её великого отца, верой и правдой служил матери, и в память расположения к нему её царственных родителей и Елизавета уважала его и любила.

– А, сударь! – приветствовала она его. – Здравствуй. Давненько мы с тобой не видались. Не хочешь помирать, встал-таки?

– Встал, ваше высочество, – с тяжёлым вздохом ответил старик, – встал, да, видно, не на радость.

– А что приключилось?

– Чай, изволили слышать, какая история с Васей-то разыгралась?

Елизавета кивнула головой.

– Слышала. Знаю. Молодчина твой племянник. Хорошее дело сделал, что одного из долгоруковской стаи на тот свет отправил, – с нескрываемым презрением сказала она. – Скажи ему от меня за это большое спасибо...

– Вот вы, ваше высочество, благодарность ему оказываете, а Долгорукие – так те ничего благодарственного не окажут...

– Ну ещё бы, им-то! – согласилась принцесса Елизавета и потом быстро прибавила:– С этой-то стороны не всё ладно. Долгоруких что волков, дразнить негоже...

Старик Барятинский покачал головой.

– Ох, куда негоже, – заметил задумчиво он, – не такой это народ, чтоб обиду честным образом на обидчике взыскать. Они потайным путём ходят, словно воры ночные из-за угла бьют...

– Верно, верно! – опять согласилась Елизавета.

– Заперли они Васеньку-то, – вдруг неожиданно брякнул старик.

– Как заперли?!

– Да так. В казематку. Уж и суд наряжен.

Елизавета пристально поглядела на старика, покачала головой и тоже промолвила, словно отвечая самой себе на какую-то тайную думу:

– Плохо дело, значит.

– На что хуже.

– Уж и суд наряжен, сказываешь?

– Говорят так. По всей строгости-де законов будут судить. Так-де император велел.

Елизавета вздрогнула и невольно как-то вскрикнула.

– Ложь!

Старик Барятинский подумал, что это восклицание относится к его словам, даже перекрестился.

– Богом клянусь, матушка царевна, от слова до слова правда. Вот те крест.

Елизавета опять против воли улыбнулась.

– Да я не про то, – молвила она. – Ложь – говорю, что император велел. Петруше не до того... Он умирает...

И, выговорив это страшное слово, она почувствовала, как глаза её наполнились слезами.

Иван Фёдорович вздрогнул от этих слов, как от громового удара.

– Да неужто?!

– Верно тебе сказываю...

– Господи! Вот напасть... А я-то смекал, что ваше высочество за Васька моего заступитесь... А ноне, вишь, и заступы нет.

И он хмуро поник своей седой головой и даже не видел, как Елизавета махнула рукой.

– Куда моя помога да заступа годна! – раздумчиво ответила она. – Ничего я, Иван Фёдорович, поделать не могу. Рада бы тебе всякую послугу оказать, да не в силе. Сама, того и гляди, жду, что в келью запрячут...

Глава XIV. РАСПЛАТА

Известие о близкой смерти царя совсем ошеломило старика Барятинского. Эта смерть отнимала всякую надежду на спасение Василия Матвеевича, и невольные жгучие слёзы задрожали на ресницах старика, когда он подумал, как должен разочаровать племянника, надеющегося на его помощь.

– Погиб, Вася, погиб! – повторял он, пока ехал от дворца цесаревны до своей квартиры. – Ничем его не вызволишь.

Старик так растерялся, что даже решил не ехать сегодня в Сыскной приказ. Болезненная слабость появилась снова, и он улёгся в постель. Но ему не спалось. Воображение рисовало самые мрачные картины, и чем дальше бежало время, тем было хуже.

Он стал забываться только тогда, когда совсем уже наступила ночь. Но и тут ему не удалось заснуть. За дверью раздались торопливые шаги, и в спальню вбежал Сенявин.

Он был бледнее полотна, и его испуганный, растерянный вид страшно перепутал Ивана Фёдоровича.

– Что ещё случилось? – воскликнул Барятинский.

– Скверное дело, – задыхаясь, ответил Сенявин, – Михайло Долгорукий получил указ о скорейшем суде над Васей.

– Ты-то откуда это узнал?

– А я в Лефортовском дворце в карауле был... Что там творится, не приведи Господи... Царь умирает, а его Долгорукие с княжной Екатериной повенчать хотят. И, должно, повенчают: уж и попы там.

Старый Барятинский даже привскочил.

– Да ну!..

– Верно говорю. Да дело-то не в том. Надо Васю спасать. Теперь ему всякого худа ждать можно. Я подглядел, как князь Алексей Григорьич указ писал и Михайле его отдал. А тот такой радостный вышел и в Сыскной приказ ехать велел... А я за ним следом сюда. Мешкать неча, а то они, изверги, Бог знает что натворят.

– Да что ж мы сделать-то можем! – печально вздохнув, сказал Иван Фёдорович.

– Что ни на есть да сделаем, а Васю вызволим... Всё равно всем погибать придётся... Коль надо будет, силой отобьём. Ноне, кстати, моего полка солдаты дежурят. Поторапливайся-ка, князь, пойдём...

Как ни был слаб Барятинский, но надежда спасти племянника, вырвать его из рук злодеев словно укрепила его хилое тело. Он наскоро оделся, и через несколько минут бойкая лошадь, взрывая копытами снежную пыль, несла их к Кремлю.

И они чуть-чуть было не опоздали.

Когда взмыленная лошадь остановилась у входа в помещение Сыскного приказа, Сенявин, точно предчувствуя, что каждая минута промедления может стоить жизни его другу, опрометью выскочил из саней и бросился в полутёмные сени приказа, где дремало несколько преображенских солдат.

Увидя своего офицера, они вытянулись во фронт.

– Ребята! – обратился к ним Сенявин. – Слушать мою команду. Что прикажу, всё делать.

– Будьте спокойны, ваше благородие, вас не ослушаемся.

– Ну ладно. Ступай за мной.

И он спешным шагом двинулся вперёд, к пыточной комнате, через которую только и можно было попасть в казематы. Солдаты молча следовали за ним, взяв ружья наперевес. Барятинский едва поспевал за ними.

До пыточной комнаты, или застенка, оставалось всего три шага, когда резкий, нечеловеческий крик прорезал воздух.

Сенявин вздрогнул. Он узнал голос своего друга.

"Неужели я опоздал, – подумал он, холодея от ужаса, – неужели злодеи его приколошили?!"

Он рванулся бегом, толкнул изо всей силы плотно притворённую дверь и почти влетел в залу, как раз в тот момент, когда палачи, скинув с Василия Матвеевича кафтан, накинули ему на руки ременные петли, чтобы втянуть на дыбу. Вот в это-то время он и крикнул, и не от страха физической боли, а от необходимости перенести "покорную" пытку.

Появление Сенявина в сопровождении преображенцев и старика Барятинского произвели и на Долгорукого, и на палачей впечатление громового удара. Не растерялся только Ушаков.

– Это что за оказия! – воскликнул он, быстро вставая из-за стола и грозно хмуря брови. – Как ты смеешь, сударь, бунт чинить?

– Не бунт я чиню, а пришёл вашим злодействам помешать, – твёрдо отвечал Сенявин.

– Тебе тому какое дело? – воскликнул Ушаков. – Мы по государеву указу действуем.

– Врёшь! – во всю мочь рявкнул Сенявин. – Никакого государева указа быть не может; перво – потому, что его величество вторые сутки без памяти лежит, а ноне и совсем кончается, а второе дело – потому, что гвардейским офицерам не приказано допрос с "пристрастием" чинить... Ребята, – обратился он к солдатам, – вызволяй своего офицера.

Солдаты не заставили себя ждать. Через минуту палачи были сбиты с ног, и Василий Матвеевич, освобождённый из их цепких, пропитанных кровью рук, уже рыдал от радости на груди дяди.

Ушаков, услышав о близкой кончине императора и вспомнив, что на указе, данном Михаиле Долгорукому, нет подписи царя, замолчал и медленно опустился на лавку, выжидая, чем всё это кончится. Впоследствии ставший таким кровожадным, он теперь был слишком молод, чтобы не содрогаться при муках пытаемых, и даже рад был, что всё так кончилось.

Но теперь зато вскипел Долгорукий. Он выскочил из-за стола и заорал во всю мочь:

– Это разбой! Это бунт! Я вам покажу, как царской воле не повиноваться... Эй, солдаты, тащи их всех в казематы...

Но вдруг он съёжился и побледнел. Сенявин могучей рукой схватил его за ворот и внушительно проговорил:

– Не ори, собака! Никто тебя не испугается, даникто и не послушается. Ступай к своему братцу любезному да скажи ему, что Василия Бярятинского взял на себя Преображенский полк, и коли хочет он его судить, так пусть честным судом судит, а не разбойников посылает на него...

И, бросив дрожавшего от страха Михаила Владимировича, он прибавил:

– Пойдём, Вася... Пойдём, Иван Фёдорович! Нам здесь больше делать неча...

Глава XV. КОНЕЦ БЕДСТВИЯМ

Михаил Владимирович Долгорукий заскрежетал зубами от бессильной злобы, когда дверь захлопнулась и он остался наедине с Ушаковым.

– Это что ж значит, государь мой?! – резко обратился он к нему. – Разбойные люди насилье чинят, дебош производят, а ты что ж это?! Словно в рот воды набрал?!

Ушаков развёл руками.

– Мне-то тут что. Моё дело сторона! – холодно произнёс он.

– Нет, врешь – не сторона! – снова закричал, побагровев от злобы и брызгая слюной, Долгорукий. – Чай, и тебе и мне поношение оказано... Царскому указу неповиновение учинено. А ты словно потатчик сим

врагам... словно за их шайку стоишь. А ещё начальник приказа именуешься... Вор ты сам, изменник! Вот что!

Бледное лицо Ивана Андреевича стало ещё бледнее. Обычное хладнокровие покинуло его.

– А ты, сударь, не моги ругаться! – внушительно проговорил он. – Не вор я и изменником такожде никогда не был. Коли ежели повинен в чём, пусть царский суд судит. Оно точно – не показано по артикулу гвардии офицеров, яко подлого звания людей, пытать... Так ты то и знай...

– А приказ царёв! – выкрикнул, немного опешив, Михаил Владимирович. Ушаков только рукой отмахнулся.

– Ну какой там приказ... Бude облыжничать-то. Чай, сам и писал-то его, а я-то сдуру веру дал.

Михаил Владимирович злобно сжал кулаки. Спокойный тон Ушакова словно испугал его, а последние слова даже напомнили просьбу брата "быть помягче, потому-де мало ли что приключиться может". Но озлобление на то, что жертва ускользнула из его рук, что ему не удалось, как след, выместить на Барятинском за смерть сына, снова забушевало в его груди.

– Ладно! – крикнул он. – Тамотка всё разберём! А я в Лефортово живой рукой смахаю! Покажу я вам, как Долгоруким ослушание чинить. Попомнишь ты у меня это, Андрей Иванович.

И, погрозив Ушакову кулаком, он опрометью выбежал из приказа, вскочил в сани, двумя здоровенными пинками разбудил задремавшего было кучера и велел что есть мочи гнать лошадей в Лефортовский дворец.

Уже поднимаясь по лестнице в верхние залы дворца, Михаил Владимирович заметил там большую перемену. Уезжая отсюда всего каких-нибудь три часа назад, он оставил Лефортовский дворец пустынным и мрачным, погружённым в какую-то сонную дрёму. Теперь же все залы были освещены, всюду виднелись группы людей, вполголоса, а то и шепотком беседовавших между собою. Везде пестрели цветные кафтаны, шитые золотом мундиры, пудренные парики, ордена,

ленты...

"Эге! Да никак Алёша сделал дело-то! – радостно подумал Михаил Владимирович. – Значит, наша взяла. Ну погоди. Ужо покажу я вам всем, как Долгоруким обиду чинить..."

И от полноты сердца, в приливе радости, он чуть было не крикнул:

– Да здравствует государыня императрица Екатерина Алексеевна, самодержица всероссийская!

Но он вовремя удержался от этого крика, и хорошо сделал, что удержался. Радоваться было положительно нечему. Михаил Владимирович сразу понял это, когда переступил порог комнаты, примыкавшей к спальне умирающего царя, когда его взгляд, скользя по толпе членов верховного совета и духовенства, собравшегося здесь, остановился на печальном, сумрачном лице Алексея Григорьевича, понуро сидевшего в кресле. Обделай он дело, не выглядел бы таким убитым. Значит, всё погибло, всё было кончено.

И действительно, для Долгоруких всё погибло.

Всё дело испортила простая случайность. Венчание непременно состоялось бы, и княжна Екатерина стала бы императрицей, если бы, как раз в тот момент, когда священник надевал ризы, не приехал фельдмаршал Долгорукий вместе с бароном Остерманом.

Как дорого бы дал Алексей Григорьевич, если бы мог не впустить их в залы дворца, но этого он не мог сделать.

Василий Владимирович был вырождаком в своей семье. В то время когда все Долгорукие, испорченные до мозга костей придворными интригами, были людьми в глубокой степени безнравственными, ставившими выше всего своё личное благополучие и честолюбивыми до болезненности, фельдмаршал Долгорукий был душевным, идеально честным человеком, неспособным ни совершить, ни допустить какое-либо подлое, бесчестное дело...

Увидев, что брат смутился при его появлении, а княжна Екатерина покраснела, Василий Владимирович прямо подошёл к священнику, тихо разговаривавшему с дьяконом.

– Батюшка, – спросил он, – вы явились, чтобы пособоровать императора?

Священник поднял на него изумлённые глаза.

– Нет, ваше сиятельство, – почтительно ответил он, – меня звали не за тем...

– Зачем же?

– Венчание тут предполагается... Его величеству благоугодно браком соединиться со своей обручённой невестой.

И он показал на княжну Екатерину.

"А, вот оно что, – подумал Василий Владимирович. – Вот какую штуку братец любезный совершить замыслил. Ну да не бывать этому".

Как раз в это время подбежал Алексей Григорьевич.

– А уж я боялся, что ты не приедешь, – с напускной улыбкой обратился он к брату. – Я порешил волю государеву исполнить.

– Какую волю? – как бы не понимая, спросил Василий Долгорукий.

– А насчёт брака с Катей.

Презрительная улыбка пробежала по лицу фельдмаршала.

– Вот что! – сказал он. – Так ты хочешь его полумёртвого венчать?..

– Ну уж и полумёртвого!..

– Да ведь он же без памяти.

– Без памяти, – как эхо, повторил подошедший Блуменрост. – Совсем умирает.

– Умирает, – сказал Василий Владимирович, – а ты такое кощунство задумал. Но, слава Создателю, Он не попустил такому бесчестному делу совершиться...

Алексей Григорьевич вспыхнул.

– Как не попустил... Я хочу, чтоб их обвенчали... и их обвенчают...

– Никогда, – резким шёпотом сказал фельдмаршал. – Я не позволю этого. И если ты сделаешь хоть одно движение, хоть один жест, я прикажу тебя арестовать. Понял?..

И по твёрдому, спокойному тону Алексей Григорьевич увидел, что всякое сопротивление будет бесполезно, что брат не шутит и сделает так, как

сказал.

– Так неужели всё кончено?! – отчаянно простонал он.

– А ты ещё сомневался! – пожимая плечами, заметил Василий Долгорукий. – Ты захотел пойти против Господа Бога, вот Господь и покарал тебя. – И затем, повернувшись к священнику, он продолжал: – Батюшка! Вас кто-то обманул. Никакого венчания не будет... Его величество умирает, и его нужно пособоровать...

Священник с недоумённым видом направился к дверям царской спальни, а Василий Владимирович отошёл к барону Остерману, с хитрой улыбкой неподвижно стоявшему у порога.

– Так всё кончено, всё! – прошептал Алексей Долгорукий. – Не удалось мне совершить это дело – значит, теперь погибать нужно...

И, закрыв лицо руками, он тяжело опустился в кресло. А через полчаса залы Лефортовского дворца наполнились генералитетом и чиновниками разных ведомств, которых распорядился пригласить Василий Владимирович, "так как часы его величества сочтены".

Когда приехал Михаил Владимирович, кончины царя ожидали с минуты на минуту: агония уже наступила; и если в дальних залах придворные позволяли себе шептаться; то здесь царило тяжёлое, удручающее молчание...

И радость, которая было охватила Михаила Владимировича, сменилась теперь отчаянием, и, как несколько часов тому назад Алексей, и он прошептал, тяжело опускаясь в кресло:

– Всё кончено... Всё погибло...

Как раз в это время дверь царской спальни распахнулась... Все зашевелились сразу и сразу же замерли. Из спальни вышел епископ Крутицкий Леонид, за ним показались фигуры Василия Владимировича и Блуменроста.

Леонид важным торжественным шагом вышел на середину залы и проговорил звучным голосом, осеняя себя крестным знамением:

– Его императорское величество государь Пётр Алексеевич скончался...

Все тяжело передохнули и потом стали креститься. В одном углу

послышались глухие надорванные рыдания.

Это плакал Алексей Григорьевич Долгорукий.

На другой же день стало известно, на кого выпал выбор "верховников", просидевших почти целую ночь над решением вопроса, кому быть царём на Руси. Одни стояли за то, чтобы провозгласить императрицей цесаревну Елизавету, другие предлагали царицу Евдокию, постриженную в монашество; третьи наконец желали видеть на престоле сына герцога Голштинского, Петра.

Но князь Дмитрий Михайлович Голицын помирил всех между собою.

– Господь наказал нас, – сказал он, – взяв к себе государя и оставив нас без власти царской. Нам не время теперь ссориться и препираться... А монархия не может быть без главы. Я уважаю принцессу Елизавету, но не ей след быть на престоле всероссийском... Дети Петра Великого уже царствовали, а по праву престол принадлежит прямым наследникам Ивана Алексеевича... По-моему, нам след просить на царство герцогиню курляндскую Анну Ивановну...

Против этого никто не протестовал, а к вечеру другого дня члены Верховного совета отправили курьера в Митаву с известием о выборе герцогини курляндской на всероссийский престол.

Долгорукие были окончательно уничтожены. Все, кто когда-то преклонялся пред ними, раболепствовал и низкопоклонничал, теперь отвернулись от них и как-то снисходительно терпели их присутствие. Часы их были сочтены, – это понимали и сами Долгорукие, и все их враги.

И действительно, вскоре после коронации новой императрицы над Долгорукими был наряжен суд. Их винули в "богомерзких замыслах, в захвате власти, в деяниях, противных совести и закону".

Суд не медлил. На третий день после открытия заседания обвиняемым был прочитан приговор. Алексей Григорьевич, Иван Алексеевич, Михаил Владимирович и их дети были приговорены к смертной казни, а жена Ивана и княжна Екатерина – к пострижению в монастыре.

Но Анна Иоанновна не хотела заливать кровью ступени трона, по

которым только что дошла до власти, не хотела омрачать светлое начало своего царствования казнями, – и виновные были помилованы. Их отправили в ссылку, в далёкие сибирские дебри, в тот самый Берёзов, из которого должны были, по приказанию императрицы, возвратить семейство Меншикова.

Почти в тот же самый день, когда Долгоруких отправили в далёкую ссылку, Василий Матвеевич Барятинский обвенчался с княжной Анной. Свадьбу отпраздновали с небывалой пышностью. Старики Рудницкие не пожалели денег, чтобы на славу отпраздновать великий, давно жданный день.

Дом Рудницких положительно сиял, освещённый целыми сотнями свечей. Сияли и лица бесчисленного количества гостей, с весёлым шумом наполнивших гостеприимные залы. Сияли и лица молодых, переживших столько тревог и бедствий, пока наконец судьба сжалилась над ними и привела их к мирной пристани семейного счастья.

Княжна Анна снова похорошела, снова расцвела, и по её оживлённому, весёлому лицу трудно было угадать, что эта же самая красавица, теперь с такой ласковой улыбкой разговаривающая с мужем, несколько месяцев тому назад готовилась к смерти и выглядела какой-то бледной тенью.

– Ах, Вася, – говорила она, прижимаясь к мужу всем своим стройным телом, – наконец-то Господь сжалился над нами. Поверишь, мне иногда кажется, что все эти последние дни – не что иное, как отрадный сон. Я боюсь, что вот-вот сон отлетит, раскроешь глаза, – и снова наступят те же безотрадные муки, то же горе, которое чуть не привело меня к могиле...

И она невольно вздрогнула.

– Полно, голубка, отгони эти печальные мысли... Скорее нужно считать сном это минувшее время, – проговорил Барятинский. – Теперь для нас наступили дни безоблачного счастья, не будем же отравлять его сомнениями и опасениями...

– А ты не думаешь иногда о Долгоруком... Ты не боишься, что Господь может наказать за его убийство. – Ведь убийство – большой грех, – тихо

заметила Анна, опять вздрагивая.

Барятинский задумался на мгновение, потом резко потрянул головой и ответил:

– Нет, голубка, не боюсь... Я верю, что так было суждено. Меня, именно меня Бог выбрал, чтобы наказать этого человека, и я его убил. Меня не за что Господу карать. Такова была Божья воля.

Анна облегчённо вздохнула и крепко пожала своей маленькой ручкой его руку.

В это время толпа гостей зашевелилась, и к молодым прихрамывая, подошёл старик Барятинский с полным бокалом в руке...

– Ну, детки, – сказал он, – пью за ваше здоровье... Будьте счастливы...

Он поднёс бокал к губам, пригубил, но тотчас же воскликнул:

– Горько! Подсластить не мешает!

А за ним и все гости, весело улыбаясь, тоже закричали:

– Горько! Горько!

Василий Матвеевич наклонился к жене и долгим поцелуем припал к её розовым губкам...

Конец